

ИЕРУСАЛИМ



Выпуск № 14

Издание Международного Союза Писателей Иерусалима при

Федерации Союзов Писателей Израиля

Главный редактор: Евгений Минин

Редакционная коллегия:

Ефим Гаммер, Александр Перчиков, Владимир Френкель

Издательство *«EVGARM»*Контактный телефон 050-3949395

В некоторых случаях сохранены особенности авторского написания, и авторы несут ответственность за достоверность предоставленных материалов.

ISBN 978-965-7209-21-11-2

© Все права принадлежат авторам

Отпечатано в типографии «НОЙ»

Владимир Френкель

ШЕСТЬ СЦЕН ИЗ ЖИЗНИ КОЛОМБИНЫ с комментариями

Сцена первая, где неизменный спутник Коломбины уверяет нас, что он вовсе не Арлекин, а неудачник Пьеро, и сам этому верит. Коломбина же всегда остается Коломбиной. Так начинается время Карнавала.

МОНОЛОГ ПЬЕРО

Не верьте мне, не верьте, Не верьте никогда. От юности до смерти Летят мои года.

В одежде маскарадной Я выхожу – один, Уверенный, нарядный, Но я – не Арлекин.

Я пасынок удачи, Я лишь играю роль, Но так или иначе, Я увлечен игрой.

Как всё на этом свете Устроено хитро́! Не верьте мне, не верьте, Ведь я, увы, Пьеро.

Влюбленным в Коломбину Не знать иных забот, Но это Арлекину Скорее подойдет.

Любой его узнает – Осанку и поклон, И кто его играет, Кого играет он.

А рядом – Коломбина, Среди толпы – одна, Надменна и невинна, Горда и холодна. И мы пойдем по кругу Друг друга догонять, А кто же мы друг другу – Попробуй отгадать.

Как всё на этом свете Устроено хитро́, Не верьте же, не верьте Нелепому Пьеро.

Сцена вторая, где Карнавал разыгрался не на шутку, но уже видно его окончание. Хотя Коломбина на этом Карнавале, конечно, как дома, но тем не менее спешит к себе домой выспаться. А Пьеро продолжает настаивать на своей роли.

Музыка, свет над водою, Смех и ночные огни – Над чернотой городскою

Снова зажгутся они.

* * *

Что же опять, Коломбина, Мне ты привиделась тут, Так холодна и невинна, Все тебя любят и ждут.

Блеск, и вино, и гитара
Из бесшабашных времен...
Я тебе точно не пара.
Я в тебя тоже влюблен.

Под мишурой карнавала Так не хватало тебя. То-то ты здесь и играла, Но никого не любя.

Дотанцевав до упаду, Думала, падая в сон, Что ничего и не надо, Если позволено всё.

Вот и остались за гранью Времени, там, за рекой Наши с тобой несвиданья И непрощанье с тобой.

Сцена тремья, где Пьеро наконец признаётся, что он все-таки Арлекин, Коломбина же ведет себя так, будто никогда не была на Карнавале, а сам Карнавал отсутствует. Тут был бы уместен эпиграф из ненаписанного стихотворения:

> Вот и отбили часы Карнавала. Словно его никогда не бывало.

Но кто знает, кто знает – Карнавал может возобновиться в любую минуту, и героям не следовало бы забывать об этом. Ведь Карнавал застает нас врасплох где бы то ни было: на прогулке, на скамейке в парке, на свидании, а то и совсем в другой стране, где мы отродясь не бывали. Посмотрим.

Я еще пройду по променаду, Я еще отбрасываю тень, Оценю вечернюю прохладу, Разговоры, шум и дребедень.

Это праздник без конца и краю... То-то, доморощенный эстет, Самого себя, поди, узнаю В зеркале давно ушедших лет.

Вот он я – бездельник и зевака. За душой, конечно, ни гроша, Арлекин, кофейный задавака, Прохожу по краю не спеша.

Что там говорят – какое поле... Жизнь прожить – как школу прогулять! А кому неможется на воле, Им-то век свободы не видать.

Вот она – подруга-коломбина, Вся-то неприступная на вид, Под кустом цветущего жасмина За кофейным столиком сидит.

С нею мы легко и без заботы До утра прошляемся вдвоем. Это – жизнь, а мелочные счеты, Как всегда, оставим на потом.

Поэзия

Сцена четвертая, где нет не только Карнавала, но даже и Коломбины, а Арлекин, хоть и снова пытается отказаться от своей роли, но уже как-то неуверенно. Но может ли быть иначе, если начало этой сцены — в подвальном винном кабачке, пусть и не с Мефистофелем, как Фауст, но все же...

Хотя надо заметить, что Арлекин на самом деле уже пребывает в иной стране, однако не забывает о Карнавале. А главный герой здесь – Небо, до которого рукой подать.

Смолоду по городу шататься, Улицы и строки рифмовать, А потом – куда еще податься – Вечную проблему разрешать.

Вот чего душе недоставало – Праздника нечаянного, тут, В полутьме старинного подвала, Где в разлив сухое продают.

Духом воспарить над черепичным Городом, поближе к небесам, – Как-то это сделалось привычным, Но и не к добру, я знаю сам.

Пусть я не похож на арлекина, Это ж не театр, а подвал, Никогда мой город не покину – Так я думал, но не угадал.

А теперь за кружкою глинтвейна, Чтоб ни померещилось опять, Не видать ни Даугавы, ни Рейна, И Невы, конечно, не видать.

Марево, а не архитектура, Миражи почище ар-нуво. Вот сюда б французского Артюра, Эти-то пейзажи – для него!

Допиваю. Выхожу. И все же Вечерами дышится легко. Видно, я с годами все моложе, Вот и до небес недалеко.

Сцена пятая, совершенно невероятная, где Арлекин почему-то оказывается в другом веке и даже в стране, в которой Коломбине быть не положено, а именно – в Испании. Впрочем, героиня здесь и не названа Коломбиной, а герой – Арлекином. Что же делать, если на всех – маски, и никто никого не узнаёт.

А ведь наших героев предупреждали — пока они выясняют отношения или предаются воспоминаниям, то как знать, неожиданно могут оказаться где угодно и в каком угодно времени, и им придется еще сыграть неизвестно какие роли.

И то сказать – любое время неизбежно застаёт нас врасплох, а особенно – это.

Ну, конечно, – это же возобновился Карнавал!

ПОСЛАНИЕ

Красотка очень молода, Но не из нашего столетья...

Ахматова

Я ничего не помню, сеньора, Кроме наших недолгих встреч. Это посланье придет не скоро, Вы постарайтесь его сберечь.

Знаю, Вы жили в другом столетье И на другом языке тогда Вы говорили о нашем лете, Вы говорили – пройдут года...

Вы говорили еще... но это Я и не вспомню уже сейчас. Лишь переменчивый слог поэта Напоминает порой о Вас.

В городе южном, где романсеро Шествует каменных вдоль оград, Взгляд восхищенного кавалера Сопровождает Ваш променад.

То-то я вижу – глядит испанец В полупоклоне на облик Ваш. Четкий рисунок. Блестящий глянец. Солнце. Цветное стекло. Витраж.

Поэзия

Сцена шестая, где Карнавал опять сверкает во всей красе, Коломбина снова блистательно играет свою роль, но мы узнаём о ней, от постаревшего Арлекина, нечто такое, о чем не догадывались раньше. Да, Коломбине на Карнавале позволено всё, о чем она, конечно, знает, но откуда же мы внезапно замечаем печаль в ее глазах? Не должно этого быть, но всё же есть, а причину мы узнаем в конце — стихотворения, а не Карнавала.

Впрочем, и Коломбина молода и прекрасна, и Арлекин, как ему и положено, в нее влюблен, и Карнавал всё так же ярок. Вот только не забыть бы нам, что Карнавал еще и коварен, и приберегает для нас последний свой сюрприз. Что же делать, если игра непредсказуема, как сама жизнь.

Эпиграф – из прежнего Карнавала.

* * *

Что же опять, Коломбина, Мне ты привиделась тут...

Как хорошо Коломбиною слыть – Танец без музыки, смех без причины. Вьется, блестит путеводная нить, Нить Ариадны? Да нет, Коломбины.

Всё несерьезно и всё наугад, До несвиданья когда-нибудь где-то, Не прерывается этот парад – Дерзкие речи безумного лета.

Если забудешь слова, не беда, Новые выдумать запросто можно, Нет, не любовь, а полет в никуда, А в никуда и представить несложно.

Праздничный город, огни на воде, Свет, и кафе, и ночная эстрада. Где это было? Везде и нигде. Кроме любви, ничего и не надо.

В изнеможенье крутись, колесо Праздника, не поспевая за светом... Да, Коломбине позволено всё, Кроме любви. Не забудем об этом.

Леонид Колганов

Посвящается Валентине Бендерской

БОЛЬШЕ ЛЮБВИ

Ты больше меня – ты судьбина, Ты – волчия яма моя, Свела под конец нас година, Разбитая, как колея.

Петлистые наши дороги, Размытые наши пути, Отброшенных родин пороги, Которых уже не найти!

Свели нас слепые стихии, Ожившие угли в крови, Ты больше Украйны, России, И даже ты больше любви.

СУХАЯ КРОВЬ

Разрыв-трава, разрыв-трава, Мне разрывает грудь, И вспять уходят все слова, В тупик уходит путь.

Тупик путей, тупик дорог, И наш с тобой разрыв, И Бог уходит за порог, Оставив лишь надрыв.

Мы расстаёмся навсегда, Померкла наша близь, И словно змеи – в никуда Дороги расползлись,

И разделили нас двоих, Оставив сушь в крови, А также сумки кож сухих, Засохших кож любви!

Давно увяли все слова, И кончен наш полёт.... Но почему разрыв-трава Мне грудь, как прежде, рвёт?

ТЕЛО ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ

Зачем тебе я нужен, Коль столько лет подряд, Как запредельной стужей, Метелью я объят?!

Зачем тебе я нужен, Когда на склоне зим, Я на ветру простужен, Как старый пилигрим!?

Зачем из тьмы предстала? Ведь я на склоне зим, Качаюсь с вьюгой шалой, Метелицей гоним.

Зачем тебе я нужен? Ведь: как лешак в лесу, Сухую злую стужу Сквозь бурелом несу.

Зачем тебя я нужен? Как снеговик в избе, Лишь слякотную лужу Оставлю я тебе.

В ноч*и* оставлю плакать, А днём беззвучно выть, Когда в крови лишь слякоть, Её нам не избыть.

Зачем тебе я нужен, Зачем ты мне нужна? Но отступает стужа, Как льдяная волна.

Ты Космос обогрела, Мой Космос ледяной, Восстав из тьмы, как тело, Моей любви земной!

ЗОЛОТАЯ ГРИВА

Мы сходились с тобою в размыве, Неразмывных, казалось, дорог, И размытые вёрсты сулили, Словно карты: тюрьму и острог. Мы сходились с тобою в разливе. Неразливных столетьями рек, И в твоей золотой львиной гриве Я запутался, видно, навек. Мы сливались с тобою в слиянье Неслиянных, казалось, кровей, И твоё золотое сиянье Восходило над жизнью моей. Мы сходились с тобой, золотая, В размыванье песков и племён... И судьба, словно пряха слепая, Швы латала распадных времён!

ТВОЙ АДРЕС

Вползают сумерки, как змеи, Как прихотливый сирый дым, А я по-прежнему немею Пред этим взором ледяным!

А жизнь меж тем промчалась мимо, Оставив лишь холодный дым, И я почти сгорел незримо, Спалённый холодом твоим.

Пусть нет тебя на этом свете, Зачем, из бездны молви мне. Я словно адрес на конверте, Досель горю в твоём огне!?

Зачем горит он, не сгорая, Хоть я сжигал его сто раз, Ответь, проклятая, из рая, Ответь, любимая, сейчас!

Зачем твой адрес на конверте, Как Феникс, не сгорел уже, И после жизни, после смерти, В бессмертной не сгорит душе!?

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Дышали сероводородом, Переходили лужу вброд, Ещё до самых наших ро́дов Нам перекрыли кислород.

Пути все были перекрыты, К себе самим, как кровоток... По мне, уж лучше власть бандитов, Чем возвращение в «совок».

Хочу вернуться я в стихию, И – Чёрной Речкой лечь на дно В грудь океанскую России, Которой нет уже давно!

Неся в груди вулкана лаву, Самой судьбе наперекор, Хочу врубиться я в державу, Как в стену вечности – топор.

Как реки в водную стихию, Наперекор самой судьбе, Мы все вольёмся в ту Россию, Которую несём в себе!

ОЧКИ ДЛЯ БЛИЗИ И ВДАЛИ

Очки, пригодные для дали, Сквозь расстояния печаль, В такие выси нас взметали, В такую уносили даль!

Очки, пригодные для близи, Когда мы устремлялись ввысь, Бросали нас в такие низи, Что снова начиналась близь!

И, словно карты, – близи, дали Мы перепутали с тобой, Ведь слишком высоко взлетали, Очки разбились, как прибой.

В осколках призрачных прибоя Лежим поверженно средь тьмы, Сорвавшись с неба, два изгоя, Так высоко взлетали мы.

Вадим Гройсман

ВОДА И ЗВУК

* * *

Как будто следуют за мной По жизни странной и неловкой Цветы, растущие стеной Над замусоленной парковкой,

Топорщится, пока я жив, Кустарник острыми смычками, И ветви для меня раскрыв, Гремит акация стручками.

В краю, где миллионы лет Планеты ходят хороводом, Мы думали, что Бога нет, А оказалось, вот он, вот он:

В дверях, в распахнутом окне – Повсюду в радости и силе, И даже там, на тёмном дне, В клубящемся и мутном иле.

Закатный свет благословит Гудки машины, лай собаки, Обыденный и тусклый вид, Дома и мусорные баки.

Как лёгкий и густой покров, Сойдёт на землю вечер жаркий, И хор бесчисленных миров Услышат улицы и парки.

* * *

Глаза в темноте отдохнули от беготни, Включили лампочки лунные сторожа, И небо, низкое в эти дни, За вечер выросло, как на дрожжах.

Ночное время катится наоборот – В пустыню памяти из пыльного городка, Но даже если себе окровавишь рот, Нельзя откусить от чёрного пирога.

* * *

Завладела вотчина Ясона Золотыми шкурками морей, Тёмное и жаркое Самсона Сладким мёдом делает Орфей.

То, что было детским произволом, Жадными порывами слепца, Связанное музыкой и словом, Побредёт за голосом певца.

А потом откроется измена, Неподвластный нотам переход: Самочинно вырвется из плена Сила, обрушающая свод.

Но смычком соперника не ранит Старый воин, побеждённый зверь, Рёвом гулкий зал не протаранит, — Мой Самсон, ты музыка теперь!

* * *

Город жаркий и крикливый, Гопник и простец. Срок счастливый-несчастливый Мы отбыли здесь.

Разворочена квартира, Скоро переезд. Ближе к финишу постыла Перемена мест.

Из угла своей системы Я смотрю в упор На обшарпанные стены И разбитый пол.

Всё равно останусь прежним, Как вода и звук, Измеряя только внешним Каждый новый круг.

Снова чёрный понедельник, Скорби и труды. Прижимаю сердце денег К пустоте в груди. * * *

Снова мыкаешься, странный и безродный, В тесный ком попавший по ошибке. Город, будто житель подворотни, Выставляет жалкие пожитки.

Надоело, самого себя таская, Щуриться от точечного света И смотреть, как чахнет городская Зелень, разомлевшая за лето.

Едешь мимо небоскрёбов Тель-Авива И полуразрушенных хибарок. Не вернуть ли Господу учтиво Этот незаслуженный подарок?

МЕЛОДИИ ЗИМЫ

Что ни утро, медленная пытка Пробками и ливнем ледяным, Будто бесконечная улитка Ползает под небом водяным.

Непрерывно образы меняя, Увязая в пёстрой толкотне, Шумная материя дневная Булькает в распаренном котле.

Но когда мучительно и криво Ночь на камни мокрые легла, Закоулки разума накрыла Неземная музыка и мгла.

* * *

Дождь, не смолкающий ночью и днём. Зябко и сонно в моём январе. Мутные дали за мокрым окном, Будто всемирный потоп на дворе.

Дремлет и гаснет моё «никогда», Легче карману пустая мошна. Благослови же, Господь, холода: Можно укрыться, и смерть не страшна.

Мальчик измученный, должен и ты Жить в поношении, давке, нужде, В жалких попытках достичь пустоты, В этом тумане, тумане, дожде.

Поэзия

* * *

Равняет ранний вечер все дома, Озябшие деревья жмутся в кучу, Когда лютует южная зима, В любую щель просовывает крючья.

Домашний угол холоден и крив, Орудуют соседи гулкой дрелью. Собака лает, уши навострив, На призраков, томящихся за дверью.

А мы не узнаём себя самих, Заглядывая в зеркало несмело, Но кажется, сливается на миг То, что проходит, с тем, что неизменно, –

Волхвы пережидают Рождество, Ночной Геракл на дудочке играет, И детям непонятно, отчего Живой живёт, а мёртвый умирает.

* * *

Я заплатил лихую цену – Узлом судьбу свою связал, – За то, что выпущен на сцену И злую истину сказал.

Всё драматург – его причуды, Всё режиссёр – его каприз, Что в красном парике Иуды Я выхожу из-за кулис.

Не улыбнусь и не заплачу, Когда приблизится финал. Я честно выполнил задачу, Я эту пьесу доиграл.

Учил от корки и до корки, Но к роли так и не привык, И в душной тесноте гримёрки Срываю крашеный парик.

Ефим Гаммер

долгое эхо жизни

1

22 июня 2016 года, в день 75-летия начала войны с фашистами, мою маму Риву доставили на скорой помощи в ашкелонскую больницу «Барзелай». Я с сестрой Сильвой были последними, кто застал её ещё живой. Она умерла 23 июня в 18. 40.

Часы живых, прошу, с часами мёртвых сверьте. И вслушайтесь, и вслушайтесь в их слитное звучанье.

Что ж, остается вслушиваться. И вглядываться. А сверяя часы живых с часами мёртвых, волей-неволей вернёшься в то время, когда никто не думал о скоротечности жизни, и вольно чувствовал себя в настоящем, не догадываясь, что оно стремительно превращается в прошлое.

Но какое это прошлое, если разразилась шестидневная война и каждая еврейская семья внезапно заразилась Израилем? Какое прошлое, если старшая дочка Сильва с мужем и детьми подала документы на выезд на историческую родину? Какое прошлое, если и она сама, моя мама Рива, дождавшись выхода на пенсию мужа, тоже устремилась в Израиль. Какое прошлое, когда это наше настоящее!

Мне же и брату Боре выбраться из Союза нерушимых республик по вызову сестры Сильвы советская власть не разрешала, пока не получим вызов по «прямому родству» — проникнетесь этой казуистикой! — не от родной сестры, а от родителей. Посему мама выехала раньше, чтобы не подрывать интересы страны, в которой родилась, выросла, получила медицинское образование и носила передачи своему папе в одесский ДОПР до его отправки из тюремной камеры в лагерь. А затем война. Эвакуация. Работа в две смены на авиационном заводе №245 в Чкалове (Оренбурге) на Урале. Холод и голод. Направление на лесоповал, куда по логике убойного времени решено было отправить работающих на заводе женщин. Но не отправили. Женщины сообразили, чем для них может закончиться работа в лесу и житье в бараках под присмотром бригадиров-уголовников, разумеется, не женского пола, и разом забеременели. Все.

Проза

Оттого я вырос в заводском доме, уже в Риге, куда передислоцировали после войны наше предприятие. В пятнадцать лет меня взяли на работу в бригаду жестянщиков моего папы.

И давай вкалывать, попутно став чемпионом Латвии по боксу и поступив в институт, откуда ушел в армию, чтобы по возвращению, соскучившись по маме, написать в день её рождения:

Мама, вот и сорок восемь. Годы возраст теребят. В бабье лето, а не в осень, Время занесло тебя.

- Зачем про бабье лето? смеялась мама. Мне больше по нраву весна. Пиши про неё.
 - Какая же у тебя была весна? Как мне знать?
 - А ты пиши. И увидишь напишется.

Как бы это ни звучало парадоксально, но она была права. Написалось.

Что же получилось? А вот что!

В незапамятном году, когда юная Рива Вербовская закончила Одесский медицинский техникум и обзавелась дипломом, к ней на приём в поликлинику пришел на укол знаменитый баянист Арон Гаммер, играющий на концертах и танцах в парке Шевченко. Укол был настолько удачным, что Арон Гаммер пригласил Риву Вербовскую в ЗАГС. И что? Она таки согласилась. А почему бы и впрямь не расписаться, если любовь, как поет Утесов, «нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждут».

Любовь нагрянула, они расписались, и Арон Гаммер стал не только музицировать в парке Шевченко, но и петь куплеты собственного изготовления:

В понедельник я влюбился, Вторник я страдал. В среду с нею объяснился, А в четверг ответа ждал. В пятницу пришло решенье, А в субботу разрешенье. В воскресенья свадьбу я сыграл.

Свадьба пела и плясала, как это принято в Одессе. В том же доме на улице Средней, где когда-то мама Ривы Вербовской выходила замуж за ее папу – Ида Гинзбург за Аврума Вербовского, героя и инвалида Первой мировой войны. На той свадьбе 1917 года, проходящей под аккомпанемент залпов «Авроры», гулял король Молдаванки Мишка Япончик.

На свадьбе Ривы, теперь уже Гаммер, гуляли другие звезды одесского неба, больше имеющие отношение к искусству, чем к налётам. На столе было не так, чтобы очень. Но и не так, чтобы ничего. И картошечка, и селедочка, и выпить, и добавить под «горько».

И надежды, что юношей питают. Одна из таких питательных надежд квартировала в Москве, где на студии грамзаписи предполагали издать пластинку фрейлехсов Арона Гаммера. Вторая, подобно бессонной кошке, гуляла по оцинкованной крыше Первого артиллерийского училища. Почему? Эта загадка легко разрешима, если прикинуть, как Арон Гаммер, представляясь гостям со стороны невесты, говорил:

- Я закончил Первое Одесское артиллерийское училище.
- О! отвечали гости на доступном разумению языке восхищения и искали на отвороте пиджака Арона петлицы, а в них лейтенантские кубари. Искали чего-то хорошего, как это принято в Одессе, и не находили, что тоже присуще городу Соньки Золотой ручки.

Бедные на воображение, они не догадывались, что Арон – известный им в качестве музыканта, композитора и сочинителя стихов, был заодно и потомственным жестянщиком – сыном великого мастера кровельных работ Фроима Гаммера. Вот в качестве кровельщика и закончил он военное училище, то бишь, в переводе с одесского на русский, закончил крыть крышу военного училища, за что и получил похвальную грамоту от армейского комиссара 1-го ранга Яна Борисовича Гамарника (настоящее имяотчество Яков Пудикович).

Сильва родилась, как это принято в Одессе, через девять месяцев после свадьбы. Подсчитать это легко на пальцах. Ходили в ЗАГС 1 августа 1937 года, а в родилку – 13 мая 1938-го. Радости было много, света прибавилось в небе и воды в Черном море. Так что на радостях Сильвочка росла не по дням, а по часам, словно предчувствуя, что вскоре разразится война, и уже, кроме голода и холода, не будет никаких достойных приобретений.

Бомбежки. Одесса на колесах. Эвакуация. Бесконечные перегоны. Южный Урал.

В первый класс Сильвочка пошла в Чкалове, так назывался в ту пору Оренбург – родина «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. Портфель ее разбухал от пятерок, переполнявших тетради по чистописанию, и мама Рива смотрела на малюсенькую дочку с удовольствием, полагая, что Сильвочка тоже поступит в медицинский техникум и станет дипломированной медсестрой, а то и врачом. Лично ей, по вине обстоятельств, пришлось отказаться от продвижения по медицинской стезе.

Война шла не только на фронте, но и в тылу, и для разгрома врага страна потребовала переквалифицироваться из медсестер в жестянщики, что Рива Гаммер и успешно сделала. Благо под боком – в прямом и переносном смысле – находился ее муж Арон Гаммер.

В данный исторический момент он возглавлял бригаду жестянщиков, которая вкалывала в три смены на 245-м авиационном заводе, изготовляя подогревы для бомбардировщиков дальнего следования, утюживших крыши Берлина.

Подогревы были личным изобретением Арона Гаммера, и это радовало Риву, так как на бригаду полагалась в заводской столовой одна тарелка стахановского супа, где крупинка крупинку догоняла, не давая сдохнуть с голода. Словом, набирались сил для трудовых рекордов. И что? Думаете, не ставили их? Ставили, и еще как, выполняя на триста процентов производственные нормы. Рива при этом успела и забеременеть. Раз, потом второй раз. Сначала она родила Эммочку. Но Эммочка, так и не дождавшись, когда её отлучат от груди, чтобы жить впроголодь на «хлебных карточках», умерла от воспаления легких. И тем самым выправила для меня вакансию. Я не задержался и появился на свет в ночь начала штурма Берлина — 16 апреля 1945 года, ровно в тот час, когда вспыхнули сотни прожекторов и войска двинулись в атаку, в ритме которой я и живу до сих пор.

Самое удивительное со мной было в том, что я не плакал. Родился без плача, и дальше – все первые дни не подавал ни звука. Наверное, ждал, чем окончится битва за Берлин. Мама Рива бегала по врачам, спрашивала:

- Что же будет? Он ни слова не говорит ни на каком языке.
 Будто не из Одессы.
 - Мы тут все не из Одессы, отвечали врачи.
 - Но вы ведь говорите, донимала их мама.
 - Говорим, потому что вы нас спрашиваете.

Мама поняла и спросила меня:

– Фимочка! Ты уже будешь один раз говорить?
Я сказал:

– Угу! – и с тех пор рот не затыкаю.

Мама была счастлива: Фимочка говорит!

Папа был счастлив: Фимочка говорит еще нечленораздельно, никто его слов не извратит и не напишет донос.

Дедушка Аврум, папа моей мамы Ривы, был тоже счастлив: ему было теперь с кем поговорить по душам.

Только что его, инвалида Первой мировой войны, попросившегося добровольцем на фронт, освободили из ГУЛАГа, куда он попал, как и многие, ничего преступного не совершив, – просто по оговору.

В лагере, когда он ковал Победу подручными средствами – пилой и топором, уголовники обрушили на него подрубленное дерево, сломали ногу, и теперь он едва ковылял. Но всё же был рад: ковылял ведь на свободе, а не за колючей проволокой. И охотно вышел бы на парад Победы, если бы его пригласили.

Но дедушку на парад не пригласили, вместо этого его направили вохровцем на охрану 245-го авиационного завода, в слесарном цеху которого работала вся наша семья. И он вместе со всеми нами отбыл в Ригу, где 245-й авиационный завод был переименован в 85-й ГВФ и разместился в корпусах бывшего винноводочного предприятия, адрес: ул. Анри Барбюса, 9.

Здесь, на товарной станции Ошкалны, прибывшие с Урала рабочие разбирали штабеля дров, с вмёрзшими между бревен трупами людей, тех, кого фашисты не успели сжечь перед бегством из Риги.

Здесь, в большой нашей одесской семье, уже имевшей в моем лице урожденного уральца, появился и первый рижанин. Им, к собственному недоумению, оказался Леня Гросман, весь из себя чернявый, как смуглянка-молдаванка. Очевидно, в память о Черном море его и сотворили на берегах Балтийского. Мы с ним представляли разительную пару — я блондин, он брюнет, мои глаза — пронзительно голубые, его — отборный чернослив. Не похожи, но братья — не разлей-вода. Впрочем, эта привязанность объяснима. Он мне не только двоюродный брат, но и брат молочный. Лёнина мама Беба Гросман умерла в Риге в феврале 1947 года, и моя мама Рива, её старшая сестра, отлучив уральского молодца от груди, выкормила рижского младенца своим одесским молоком, чтобы он был здоровым.

А выкормив, стала следить, чтобы в учебе он не отступал от меня. Он и не отступал. Учился, учился и выучился в инженеры. У нас все выучились. Причем стахановскими методами, досрочно. Я, допустим, на один год ранее положенного срока закончил Латвийский государственный университет, отделение журналистики, установив своеобразный рекорд нашего высшего учебного заведения: за один день однажды сдал восемь экзаменов и зачетов. Вы спросите: к чему такая спешка? Отвечу: в моих ушах с первого класса стояли мамины слова:

 Пока ты донесёшь до меня свою пятерку, я уже умру от ожидания.

А теперь представьте: я заболел скарлатиной. Эта неприятность произошла в таком возрасте, когда ребенок практически безоружен для великовозрастных пацанов, с кем его поместили лежать в одной палате.

Воспитанники улиц бросались на меня с криками, что я другого рода-племени, и мне приходилось героически отбиваться от их численного преимущества, кусаясь и царапаясь, наподобие Маугли.

Исходя из этого, мое лечение шло с переменным успехом, прибавляя к высокой температуре многочисленные синяки и ушибы. Но тут младший братик Боря, следуя примеру Лени, который захворал, собираясь ко мне на выручку, тоже подхватил скарлатину.

В результате мама Рива, настойчиво демонстрируя докторамспециалистам болезни грудного Бори и четырехлетнего Лени, добилась разрешения лечь ко мне в больницу. И тем самым закрыла амбразуру хулиганского дзота, проделанную драчливыми кулаками мелких антисемитов.

При зачислении в больницу активную помощь маме оказала моя старшая сестра Сильва. Она тоже успешно затемпературила, но настолько странным образом, что её исцеление могло произойти только под музыку. Такой диагноз поставили лечащие врачи. Почему? Никто этого не знает. Но догадаться легко.

Когда белые халаты проведали, что Сильва – аккордеонистка, виртуозного мастерства, то быстро смекнули: на носу новогодние праздники, и без столь выгодного больного, умеющего создать настроение, их прочие пациенты помрут от скуки, если их не доконают другие заразные болезни. Сильву вместе с аккордеоном зачислили на койку в общую для пополняющейся семьи палату, где, в ожидании её репетиций, держали под мышкой градусники Боря и Леня.

Как тут не вспомнить Ива Монтана?

«И сокращаются большие расстоянья, когда поет далекий друг».

Вот это я и почувствовал, вот это я и оценил, когда услышал сквозь стенку, как пароль, что «в лесу родилась ёлочка, в лесу она росла».

Сильва? А если здесь Сильва, значит, помощь близка.

– Когда моя мама придет? – закричал я вопросительно и поднялся над кроватью. Левой рукой я держался за ее металлическую спинку, а правой размахивал, как Чапаев саблей. Но не саблей, разумеется, а полотенцем в пупырышках, связанном на конце в узел, так называемый «кулак».

Драчливые придурки, наускиваемые дядей Витей с соседней, у окна, койки, бросились в атаку на человека «не того родаплемени».

Бей жидов! Спасай Россию! – кричали они в столице Латвии.

Что оставалось? «Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг", пощады никто не желает!» И я, обороняясь, лупил их смастеренным за ночь оружием.

- Когда моя мама придет?

Этот отнюдь не победный клич извлёк из-за двери санитара приличных даже для сумасшедшего дома габаритов. Он схватил меня в охапку и потащил по коридору. Куда-то туда, где призывно росла ёлочка, известная детворе тем, что зимой и летом стройная, зеленая была.

На новый 1950-й год Сильва давала концерт. Под ёлочкой, украшенной игрушками. Перед больными вполне излечимой скарлатиной и неизлечимым антисемитизмом. А затем, когда дошло до выписки, аккордеону, моему спасителю, придумали устроить карантин. Мол, выпусти такого наружу, глядишь, он и заразит микробами проходящую мимо публику.

– Как же так, – возмутилась во весь свой подростковый, уже неподконтрольный возраст Сильва. – Меня можно выпускать на улицу, а «Хоннер» нельзя? Никого он не заразит, я ручаюсь. Аккордеон, он даже дышать на людей не умеет, тем более кашлять с брызгами слюны.

Но врачи не поверили моей сестре. И, посовещавшись в «мертвом покое», приняли решение: устроить музыкальному инструменту если уже не карантин, так «чистку мозгов», то бишь дезинфекцию. И устроили. С помощью марганцовки, йода и медицинского спирта. Да настолько результативно, что аккордеон качественного немецкого производства, привыкший к другому обхождению, на выходе из «мёртвого покоя» охрип и сипло исполнил: «Шумел камыш, деревья гнулись. А ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра».

Под эту музыку мы – Сильва, я, Леня и грудной Боря, ещё не умеющий ходить, но активно двигающий ножками на руках у мамы, чтобы поскорей добраться до дома, – покидали гостеприимную больницу с диким желанием никогда больше не хворать.

Желание подкреплялось убежденностью, что мама у нас правильная – по образованию и специальности медицинский работник: отсюда и надежды, что юношей питают вместо вирусов. И хорошо делают, что питают. Иначе каюк. Почему? Да потому, что каюк! Что тут непонятного?

Каждому такую маму! 4 декабря 2015 года ей исполнилось 97 лет. Где? Не так далеко от Чёрного моря. На берегу не менее шикарного — Средиземного. В израильском городе Кирьят-Гате. Это, конечно, не Одесса, но тоже кое-что. Казалось, ещё чутьчуть, и доживет до ста. Но не судьба.

В неизбывном далеке, в том самом 1970 году, юбилейнопобедном, в редакции «Латвийского моряка» возникла идея скомпоновать сборник о войне «В годы штормовые», по принципу газетной рубрики «День первый – день последний», в начале дать очерк о капитане Дувэ, погибшем 22 июня 1941 года, а в конце...

Помнится, у меня тогда чуть не вырвалось: «Мой дедушка Аврум Вербовский умер девятого мая. Но не в сорок пятом. В шестьдесят первом».

Ох, не знал я, не догадывался, что и мой папа Арон умрет тоже девятого мая. Но уже не в Риге. В Израиле. Ровно через сорок лет после дедушки, в 2001 году. Сорок лет, сорок лет пустыни... мистические сорок лет каждой еврейской судьбы. Я в сорок лет внезапно, словно по велению свыше, стал художником. В 53 года, спустя сорок лет после первого выхода на ринг, я вновь надел боевые перчатки и стал чемпионом Иерусалима по боксу, чтобы до семидесяти лет повторять это раз за разом.

А тогда в 1970-м, ничего не зная о цифровом коде и предопределенности, я горько усмехнулся. Чего толковать, мой дедушка Аврум никак не укладывался в кассу метранпажа. Он был не из той войны. В восемнадцать лет пошел добровольцем на Первую мировую, и вернулся в родную Одессу, на толчок, в 1917-м с простреленной в наступательном бою рукой.

Инвалид Первой мировой попросился и на Вторую, тоже добровольцем. Правда, уже не из Одессы-мамы, где в топке великого голода двадцатых годов сгорели от истощения его отец Шимон и новорожденный сынишка Мишенька. Малыш, в отличие от древнего цадика, скончался, можно сказать, в полном недоумении, обхватывая ручонками грудь своей мамы, впоследствии моей бабушки Иды, иссохшую – ни капли молока – грудь-кормилицу.

На Вторую мировую дед Аврум попросился из недр ГУЛАГа.

«Готов жизнь отдать за товарища Сталина. Чем такая жизнь, так лучше погибнуть на фронте», — писал он простреленной рукой, притоптывая в такт слов изувеченной на лесоповале ногой. Писал под диктовку уполномоченного Органов, управляющих его подневольной долей. Просьбу уважили. И досрочно, весной 1944-го, выпустили из Соликамска, щедрого на смерть лагеря. Но медицинская комиссия забодала старого, под пятьдесят, солдата. Рука на перевязи. Нога, переломанная в колене упавшим деревом, вывернута диким образом, лицом к пятке, будто смотрит не на передовую, а в тыл.

И дед Аврум вместо фронта попал в Оренбург, тогда Чкалов, охранником на 245-й авиационный завод.

Здесь, в слесарном цехе, обе его дочки — Рива, моя мама, и Беба, её сестра, жена Абрама Гросмана, тоже законного внука Молдаванки, — вкалывали с опережением плана в одесской бригаде жестянщиков моего папы Арона. Эта славная семейка клепала подогревы и бензобаки для бомбардировщиков дальнего следования, которые утюжили крыши Берлина. Им же за ратный труд выделялась на всех троих в заводской столовой одна тарелка стахановского супа, где крупинка крупинку догоняла. Суп полагался только бригадиру, то бишь моему папе Арону, а простые рабочие, жена его Рива и ее сестра Беба должны были давиться сухим хлебом.

Впрочем, процесс насыщения был рационализирован, и суп зачастую использовался в качестве вкусового размягчителя для хлеба. Он, так же, как и стахановский суп, отпускался по карточкам, 800 грамм работающим, 400 иждивенцам и детям. А иждивенцем в этой мишпухе числилась разве что бабушка Ида, детьми же — её младшая. девятилетняя дочка Софочка, мои сестры шестилетняя Сильвочка и трехмесячная Эммочка, скончавшаяся, правда, вскоре после получения карточки на питание от воспаления легких, а также, впритирку к ним, трехлетний Гришенька Гросман, умудрившейся родиться в Одессе под бомбами 25 июня 1941 года.

Чтобы не сдохнуть от щедрот государства, ломающего хребет фашизму с попутным исправлением сутулости своего народа, необходимо было найти ангела-хранителя. На эту роль вызвался Гришин папа Абраша Гросман. Он устроился электриком на хлебокомбинат. И по этой причине приобрел связи, полезные для внедрения своих домочадцев, земных авиаторов, в пищевую промышленность. Одесская бригада жестянщиков моего папы Арона после дневной смены отправлялась на ночную. На комбинате они изготовляли железные формы для хлебной выпечки. Вознаграждением за труд служили обрезки хлеба, позволительные для выноса через проходную. Эти обрезки шли в пищу, а истинный хлеб, получаемый по карточкам, – на продажу. На вырученные от продажи хлеба деньги покупали картошку. А очистки от картошки, с глазками и без, сдавали для огородных и прочих нужд местным домохозяйкам. В обмен на катушку ниток. С помощью этих драгоценных ниток моя бабушка Ида Вербовская на швейной машинке превращала старые юбки в новые платья и курточки. Товарно-денежные отношения нашей семьи с враждебным ей миром укреплял мой папа. За счёт баяна, когда играл популярные мелодии на базаре, привлекая покупателей к прилавку с кустарными новинками ширпотреба бабушкиного производства. Или за счёт ботинок и сапог.

Их он тачал, покачивая меня в люльке, в свободные от основной работы часы или в редкие выходные. А свободных часов у него тогда, в Чкалове, на улице Ворошилова, 49, выпадало крайне мало, как, впрочем, и всю жизнь. Или он вкалывал на заводе, по две смены. Или спорил с инженерами и технологами, отстаивая свои изобретения и рационализаторские разработки. Или, виртуоз баяна и аккордеона, выступал на сценических площадках Одессы, Москвы, Риги. Или сочинял музыку, в основном фрейлехсы, а к ним и поэтические тексты.

Трудовую деятельность, как вспоминал с долей юмора мой папа Арон, он начал, едва научившись ходить. Лет семи он уже мастерил хлебные формы в знаменитой булочной Бенчика.

Почему знаменитой? Потому что за ту же маленькую цену у Бенчика можно было купить самый большой в Одессе хлеб. Откуда пошёл этот слух? Слух этот шёл по Одессе на ногах моего юного папы. Бенчик оплачивал его труд не деньгами. Хлебом. Для подручного своего Арона он выпекал особую буханку, размером с упитанного младенца. И когда папа направлялся в обнимку с пахучей сдобой домой, то все встречные спрашивали у него:

- Где в этой жизни, мальчик, ты достал такой большой хлеб?
- У Бенчика!

Что и говорить, реклама – двигатель торговли. И покупатели не обижались на Бенчика и тем более на моего смекалистого папу, убеждаясь в булочной: за маленькую цену большого удовольствия не увидишь.

В тринадцать лет моего папу Арона, с нарушением всех возрастных норм, приняли в профсоюз и назначили бригадиром жестянщиков. В двадцать один, в 34-м, он уже работал в Кремле. Дада, в том самом, где никогда не гас свет в окне товарища Сталина, как писали стихотворцы.

В Кремль папа попал, будучи проездом в Москве. В 1933-м, в пору очередного голода в Одессе, он повёз свою старшую сестру Бетю в Биробиджан. Там намеревались создать родину для теплокровных евреев непрошибаемого по крепости мозгов Советского Союза. Если Россия родина слонов, справедливо задавались вопросом башковитые аппаратчики, то почему медвежий край не родина для евреев?

«Родина! Родина!» – закричали в Одессе люди еврейской национальности, состоящие из супного набора – костей, сухожилий и хрящей. И кинулись на берега реки Биры за толикой калорий, чтобы нарасти мясо на скелетном каркасе тела.

Оставив Бетю обживаться в таежной глубинке, мой папа Арон двинулся на заработки в Копай-город – так по-простецки называли дальневосточники Комсомольск на Амуре.

Наяву мечта зодчих Светлого Будущего представляла собой всего лишь землянки и великое множество замерзающих повсеместно ударников труда. Папа сразу сообразил, что пламенные речи вербовщиков — ничто по сравнению с «буржуйками». И стал изготовлять железные печки, с выходной трубой-дымоходом, обогревать Копай-город, уснувший в глубоких снегах. В знак благодарности за выживание комсомольская стройка одарила его брюшным тифом и, погрузив бесчувственного баяниста-жестянщика в эшелон, отправила по рельсам умирать в неизвестном направлении. Тут папе и подфартило. Он и впрямь сделал остановку в самой настоящей коммуне, где всё бесплатно. Но предварительно очухался от тифа, привычно победив нутряной жаждой жизни отупляющий зов смерти.

Попав ненароком в Москву без копейки в кармане, он с попутчиком своим Стёпкой приступил к поискам работы. На доске объявлений прочитали: «Требуются кровельщики-жестянщики».

Обратились по адресу.

Их приветили. Посадили в машину с конвоиром. И доставили в Кремль. В Кремле сопроводили на чердак. И там, на чердаке, доверительно сообщили: «Крыша у нас поехала. Когда сбрасывали царского орла со шпиля, он пробил дырку в кровле, её не заделали, вот крыша у нас и поехала».

Папа внимательно выслушал кремлевского завхоза. И согласился: крыша у них действительно того... Это надо же, крыша у них, почитай, поехала прямиком с 17-го года, с самой революции, когда скидывали орла наземь, а спохватились только сейчас и бросились на поиски специалистов. Излишне говорить, мой папа был большой специалист по кровельному делу. В Одессе с 30-х годов жестяная крыша его работы украшает Первое артиллерийское училище, если ее еще не украли. Наш фамильный знак можно встретить в Кракове и Варшаве, на островерхих кровлях костелов.

Увековечен он дедом моим Фроимом, а до него и прадедом Арн-Бершем. Ещё в 19-м веке. Эти люди являли собой настоящих мастеров молотка и ножниц. Они выезжали из Одессы на трудовой променад в Польшу, получая, как некогда маститые живописцы Возрождения, персональные приглашения из мэрии или от именитых горожан. Вот и в Москве все вышло по правилам. И мой папа Арон, не нарушив семейных традиций, благосклонно принял приглашение отремонтировать крышу Кремля не от когонибудь, а от Самого...

Имя, честно сказать, он не помнил. Да и кто вспомнит теперь этих репрессированных завхозов советской власти?

Распрощавшись с работодателем, мой папа приступил со Стёпкой к починке прохудившейся кровли. Работали с огоньком. Стёпке от того огонька прикурить захотелось. Ан не прикуришь, когда папирос нет в наличии. Тут и время обеденного перерыва приспело. Кушать хочется, а денег нет.

Что делают люди, когда им хочется кушать? Идут в столовую. Даже без денег.

 Может, какой газеткой перекроемся и хлеба пожуем на халяву, – предложил Стёпка, выманивая папу моего Арона с чердака на аппетитный запах.

Столовую нашли. Газету тоже. Перекрылись газетой, будто шибко грамотные, и давай потихоньку хавать. Тут подбегает к ним официантка, вся такая упитанная, в кружевном передничке, с бархатным голоском.

 Что вам подать, того-этого? Негоже хлебцем хрумкать посухому, без сопровождения борщеца с капустой и мозговой костью.

Раскраснелся папа мой Арон от стыда. Раскраснелся Стёпка.

- Денег, дамочка из пищеварительного треста, нема у нас. Ну, ни копейки грошей!
- А денег и не треба, расщедрилась девица. У нас тут полная коммунизма. Мы и без грошей кормим от пуза.

Стёпка тут же заказал на двоих. От пуза. И от щедрот дарового коммунизма. Чего только он не заказал, вспомнить – удавиться можно в последующие голодные, а они всегда при советской власти, голодные годы. И борщ заказал. С капустой и мозговой костью. И котлет заказал. Картошку в мундире. И репчатый лук. Чай заказал. Конфет-монпасье заказал. Коробок спичек. И четыре пачки шикарных папирос. Всё заказал, что душе угодно.

Помнится, пресекал я папу на этом царском заказе и спрашивал, почему он вернулся в Одессу, в отличие, скажем, от Ойстраха и Утёсова, Ильфа и Петрова, Маргариты Алигер и Семёна Кирсанова? Почему не остался жировать на бесплатных хлебах в хозчасти Кремля, куда был приписан в ходе реставрации поехавшей у большевиков крыши?

И он мне отвечал, разумно и обстоятельно:

– А где бы тогда был сегодня ты? А Сильвочка? Боренька? И кто бы женился на твоей мамочке Ривочке, если бы я остался в Кремле? Брежнев? Да и жив ли я был бы по тем погодным условиям, если бы остался в Кремле? Может быть, со всеми своими музыкальными и техническими способностями я бы стал не братья Покрасс и не Микоян – Гуревич, на военном языке МИГ, а пропал бы на тёмных задворках ГУЛАГа, как Мандельштам. Кто знает? А так я знаю, что благодаря изобретённым мной подогревам, бомбардировщики, не обмерзая, долетали на большой высоте до Берлина.

И пели Гитлеру небесную-заупокойную: «Нам сверху видно все, ты так и знай». А Герингу, который сказал, что съест свою шляпу, если одна бомба упадет на Берлин, я бы эту шляпу засунул сначала в задний проход, а потом в рот. Пусть скушает её с нашей начинкой.

Семейные истории, как и вселенские, не терпят сослагательное наклонение.

Арон, сын Фройки, вернулся из Москвы в Одессу. Стал работать на заводе, а по вечерам играть на баяне в парке Шевченко. Влюбился в красавицу-медсестру Ривочку Вербовскую, закончившую школу на идише, медицинский техникум на украинском и бегло говорящую по-одесски на русском — языке своего бессмертного земляка Пушкина. И сделал ей предложение после того как она сделала ему безболезненный укол.

Девушка не устояла в свои шаткие восемнадцать лет от предложения выйти замуж. Жених — первый сорт, представительный человек с множеством талантов: метр восемьдесят семь ростом, 96 килограмм весом, атлетическая фигура с накаченными на кровельных работах мышцами, чемпион Одесского порта по боксу 1931 года в тяжелом весе, популярный в городе музыкант, сочинитель доступных пониманию стихов, начинённых юмором. Ничего больше и не надо для полного счастья!

В 1937-м папа женился. В 38-м родилась Сильвочка. В 1940-м папа, дефилируя по Одессе сразу с двумя молодыми женщинами, женой Ривой и её младшей сестрой Бебой, встретил у кинотеатра заводского приятеля Абрашу Гросмана.

Какие чудесные девушки! – сказал вместо приветствия Абраша, не скрывая вспыхнувшего в сердце восхищения.

Надо отметить, он заметно хромал, правда, без особой выразительности, на правую ногу. Этот недостаток, при несомненных достоинствах левой ноги, искупал внешними данными: роскошной гривой, обаятельной улыбкой, быстрым на различные комбинации умом. И всё это великолепие увенчивала редкая по тем глинобитным временам, но чрезвычайно модная профессия электрика.

Совсем кстати у Абраши на руках оказались лишние билетики, а в грудной клетке – щедрое на подарки сердце. И он, не отходя от кассы, тут же потерял голову от неземной красоты мадмуазель Бебы Вербовской.

По выходе из сеанса сделал Бебе на месте, людном месте, между прочим, признание в нержавеющей до старости любви. И повел было её мимо родительского дома в ЗАГС. Но тут им перегородил дорогу дедушка Аврум Вербовский, уже с простреленной рукой, но еще не хромающий.

Он увидел хромающего Абрашу, не представляя, что так будет выглядеть и его будущее после лесоповала, и, рассерженный по причине хромоты незваного жениха, вознамерился отказать ему в руке и сердце дочери.

Но если Абраша Гросман говорил: «Хочу жениться», он непременно женился. И таки он женился на Бебочке Вербовской ровно в 1940 году, чтобы старший его сынок Гришенька исхитрился-выскользнул из материнского лона прямо под немецкие бомбы 25 июня 1941 года. Точно в тот день, когда мой папа Арон получил официальное письмо-извещение из Москвы, из Государственной фирмы грамзаписи, о том, что его фрейлехсы одобрены взыскательной комиссией, включающей в свои ряды чуть ли не Михоэлса, и обретут теперь новую жизнь, будучи представлены на авторской пластинке в декабре 1941-го.

Ну, а дальше? Дальше ещё та музыка. Эвакуация. Южный Урал. МТС. 245-й авиационный завод. Передислокация в 1945-м в Ригу, где на улице Барбюса, 9, военный завод переименовался в 85-й ГВФ и разместился в цехах бывшего винно-водочного предприятия, что немало способствовало перевыполнению плана и повышению энтузиазма рабочих, которые приноровились скрытно добывать лакомые напитки из винных подвалов.

Далее, в 1947-м году, 20 февраля, через восемь месяцев после появления на свет Лёни, второго ребенка, Беба умерла из-за отказа почек, и моя мама Рива выкармливала его той же грудью, от которой отлучала меня незадолго до смерти сестры.

Абрам Гросман, к слову мистическому в подвёрстку, пережил Бебу ровно на 40 лет, как мой папа дедушку Аврума, и плюс к тому ещё шесть дней. Он умер в Таллине 26 февраля 1987 года. Но какой потаенный смысл в этих шести добавочных днях? Однако, если представить себе, что он был старше Бебы на шесть лет, а на том свете не иначе, как день за год, тогда всё логически укладывается в какую-то недоступную нашему разуму систему, этакую космическую мозаику. Так это или не так, не нам судить. Нам помнить!

Дальше, в 1948 году, перед уничтожением еврейской культуры, советская власть облагодетельствовала моего папу Арона знаком «Отличник Аэрофлота», приравненным в авиационной промышленности к иному ордену. А в 1953-м, уже не пряча оскала саблезубого тигра, собиралась объявить его же, не слезающего с Доски Почета, вредителем. И намылилась отправить всех нас туда, куда Макар телят не гонял. Бог помог. В Пурим. И Сталин скоропостижно отдал Ему душу. А нас оставили сидеть в растерянности на подготовленных к выселению из квартиры чемоданах. По сути дела, оставили в живых.

Наверное, потому я и люблю этот праздник. Наверное, и мой сын Рони не случайно родился в Пурим. И не случайно здесь, в Иерусалиме. В день, когда обильно шёл российский, можно сказать, снег. И не случайно в Пурим 1980 года. Сложим цифры. 1+9+5+3=18. 1+9+8+0=18. 18 на иврите, в буквенном значении, дает слово Хаим, мое имя по-еврейски, значащее в переводе на доступный язык – ЖИЗНЬ. Случайна ли череда этих совпадений? На мой взгляд, не случайна. Да здравствует жизнь! Она тоже не случайна, если её можно назвать жизнью.

Далее, в 1977 году, мои родители уехали из Риги в Израиль, в Кирьят-Гат, оставив на еврейском кладбище дедушку Фройку и бабушку Сойбу, урожденную Розенфельд, дедушку Аврума Вербовского и мою тетю Бебу Гросман, а на старом еврейском в Одессе — моих прадедушек и прабабушек Арн-Берша с женой и Шимона Вербовского с женой Эстер.

Здесь в Израиле папа, нежданно для себя, почти в восьмидесятилетнем возрасте, стал снова из баяниста-аккордеониста композитором.

Как известно, всё новое — это хорошо забытое старое. Памятуя о том, мой брат Боря, саксофонист, кларнетист и оранжировщик, создав Иерусалимский диксиленд, переозвучил папины фрейлехсы тридцатых годов на самый модерный лад. И повез их после триумфального представления на сцене Иерусалимской академии музыки, где преподает джазовое искусство, на международный фестиваль в Сакраменто, США.

Папа, если серьезно, в его тоне, говорить по существу проблемы, рекомендовал маэстро Боре сделать пересадку в Одессе, там лучше поймут и оценят музыкального младенца шестидесяти нержавеющих лет. Оно и понятно. По его, папиным, убеждениям, на Дерибасовской, где открылася пивная, играли на трубе, медных каструлях, дедушки его Арн-Берша производства, и даже двуручной пиле задолго до Нью-Орлеана. И причём не какнибудь натощак, а в сопровождении диких кошачьих визгов. В Америку же всё это музыкальное богатство завезли штатовские моряки, не знающие, при наличии воровских замашек, что ещё такого ценное можно украсть в городе, называемом Жемчужиной у моря, когда в нем уже побывала на променаде Сонька Золотая ручка.

Но факт есть факт. На творческом мосту, перекинутом через десятки лет, каким-то мистическим образом, в соитии еврейских мелодий и модерных ритмов, родилось новое джазовое направление «Дикси-фрейлехс», и несло оно на себе, как и древние крыши Кракова и Варшавы, фамильный наш, отличительный знак.

Проза

Столь же мистически, не иначе, папины фрейлехсы, прозвучав первый раз над Сакраменто в 1991 году на всемирном марафоне диксилендов, были восприняты публикой просто-напросто восторженно, и затем, согласно проведённому опросу, признаны там самыми популярными композициями, своего рода открытием фестиваля. И слушатели не раз и не два вызывали на бис новоявленного по их представлениям композитора, преисполненного творческой смелостью и молодым задором. А он, находясь на пенсионном довольствии в Кирьят-Гате, узнавал об этих вызовах со слов Бори и его оркестрантов. Так было в 1991-м и в 1993-м, в 1996-м и в 1998-м, вплоть до 2001 года, когда папа, и захотев даже выйти на приветствия, не мог уже осуществить это позднее желание... по вполне уважительной причине.

Он умер девятого мая, ровно через сорок лет после моего дедушки Аврума, не дожив Всего Трое Суток до своего дня рождения – до восьмидесяти восьми лет.

И покоится невдалеке – по земным и небесным понятиям – от своей жены Ривы и от Иды Вербовской, жены дедушки Аврума и моей бабушки.

Воля небесная? Воля земная? Или скрытая воля войны?

Алиса Гринько

НА МОСТИКЕ-РАДУГЕ (отрывки)

1

Словно в ночной, непроглядной мгле, когда черное небо сливается с бездной моря, огромный корабль, у которого некто невидимый и могучий обрубил якорную цепь, продрейфовал бесшумно с потушенными огнями и спящей командой в открытый океан без руля и без ветрил, — огромная страна, покинув тихую гавань, устремилась в неразгаданную даль.

Странные времена, веселые, иногда страшноватые, на грани абсурда, настигали и отбегали, как волны; в том, что происходило в стране, проступало нечто иррациональное, но оно не сейчас родилось, а раньше скрыто было от взглядов непричастных, как будто бы существовали до этого две не соприкасающиеся одна с другой стороны жизни, как две половинки луны, одна из которых всегда освещена солнцем, а другая – в тени и холодна.

Погубленная семь десятилетий назад страна словно задергалась в конвульсиях; и еще, все, что происходило, напоминало или позволяло предположить аналогию с прокручиваемой в обратном направлении магнитофонной лентой: зима; голод; разруха; НЭП...

Но все было, все события как бы в уменьшенном масштабе, не столь трагично, слегка размыто и даже не очень серьезно; временами смешно...

Зима пришла, одна из первых зим перестройки, ранняя, снежная, морозная, очень красивая; в черном вечернем небе грозно сияла, переливаясь красным и голубым, большая звезда. Люди с пустыми сумками брели по улицам. Магазины плотно забиты были вьющимися зигагом очередями, где стоявшие близко напротив друг друга в соседних витках в надежде дождаться куска масла в четыреста граммов, столько отпускалось строго в одни руки, — или пакета с мороженой рыбой, — знакомились, поскольку стояние было долгим, и быстро обретя общие темы, делились проблемами и соображениями.

Розочка вышла из гастронома на Большой Бронной, где она простояла в очереди за вермишелью. Из винной очереди перейдя, за ней встал невзрачный мужичок, поинтересовавшийся:

- Майонез есть?
- Не знаю, вежливо ответила Розочка, я стою за вермишелью.
- Извините, сказал мужичок, я не хотел вас обидеть.

Она вышла из магазина, все еще улыбаясь. У входа плотный инвалид без одной ноги радостно повторял:

– Бутылки сейчас на восемьдесят рублей у меня купили!

По плохо освещенной пустынной улице навстречу Розочке бежала молодая женщина в каракулевой щапочке и, поравнявшись с ней, доверительно спросила, кивнув на гастроном:

- Что там дают?
- Вермишель, сказала Розочка.

Женщина тихонько хмыкнула и, заглядывая в темноте в Розочкино лицо, понизив голос, спросила еще:

- Говорят, голод будет?
- Не будет, кратко возразила Розочка. Она бы, конечно, не удержалась от комментариев, но ей именно трудно было говорить: она вставляла зубы.
 - Чего? переспросила женщина.
- Не будет, повторила Розочка и пояснила туманно: Голод трудно организовать технически.

Женщина снова хмыкнула и побежала дальше.

А когда сахарный песок, водку и папиросы «Беломор» стали выдавать только по талонам и сразу же появился анекдот про песок в пустыне Сахара, то Розочка, выходя из дому в поисках еды и увидав во дворе вечно там болтающегося пенсионера Ивана Семеныча, отставного гэбешника, а сейчас бессменного председателя правления кооператива, который эти самые талоны жильцам раз в месяц по списку выдавал, — возвращалась домой именно за ними, за талонами, которые вечно забывала.

Водкой и папиросами не пренебрегала, расплачиваясь (валюта!) по летнему времени за ремонт ветхого домишка, недавно ею приобретенного по перестроечной свободе купли-продажи в Тверской области. Как-то, набив полную сумку «Беломором» — на себя и на сына — по тринадцати копеек за пачку, едва от киоска отошла, как к ней сбоку подвалил мужик и попросил хрипло: «Вы не выручите меня?» Покосившись, увидела зажатый в заскорузлых пальцах мятый рубль, такса за пачку, а после — лицо просившего, бледное, какое-то замученное, нестарое; умоляющие голубые глаза, взъерошенные волосы. Поколебавшись секунду, вынула из сумки и дала ему пачку. Он протягивал рубль. «Да ладно», — отмахнулась. Деньги как бы и ни к чему тогда были. Все было дешево; и нигде не было ничего.

Шли вечером после работы с Катюшей к метро по Пятницкой. Розочка замедлила шаги перед знаменитой кондитерской, заглядывая в окна.

- Там только вафли, махнула рукой Катюша.
- Катерина, строго сказала Розочка, вафли тоже еда!

НЭП начался с появления в продаже предметов изыска, и дамочки из института, где работала Розочка, бегали в ГУМ через Москворецкий мост за корейскими вазами. Вазы, в самом деле, были красивые. Розочка не устояла и тоже купила две, себе и сестре.

НЭП начался и увеличивался, но магнитофонная лента дала сбой: она не вернула огромную, заблудившуюся страну, – как думали и ожидали некоторые, потому что тогда и думали, и читали запо-

ем прессу и кричали, собираясь кучками в подземных переходах и на площадях, огромные массы людей, — ни к разогнанному большевиками Учредительному собранию, ни тем более, к блестящему российскому Серебряному веку, как надеялись грезившие о возврате прежней России, «которую мы потеряли»... Огромный корабль с потушенными огнями медленно дрейфовал к вовсе не известным берегам; взбесившийся компас показывал направление куда-то в сторону Новой Гвинеи.

(...) Помыкавшись с полгода на пенсии и нерегулярно выплачиваемом гонораре за переводы, устроилась по знакомству Розочка в роскошный супермаркет на Садовом кольце, принадлежавший, по новой перестроечной демократии, богатым арабам, — стеклопротирщицей, так официально именовалась теперешняя ее должность, на каковую ее рекомендовала Галя Черкасова, бывшая переводчица-химик, уже полтора года вкалывавшая там уборщицей в книжном отделе, то есть все-таки поближе к культуре.

А знаете, не самое плохое было время! Розочке приятно было утром выходить из метро в центре старой Москвы, это было недалеко от переулка, где стоял двухэтажный дом, там она родилась, проходить мимо ряда лоточников, торговавших всякой заманчивой всячиной; там стоял даже один всамделишный индус в чалме и с огненными глазами в паре с белокурой девушкой, мимо них трудно было пройти, на лотке пестрели самоцветы, насыпью лежали перстеньки, крестики, кулоны...

Пока Розочка надраивала до блеска стекла автоматических дверей, к ней неспешно подходил, закончив утренние хлопоты во дворе и на ближнем к суперу участке улицы, дворник-интеллектуал. Маленький, широкий, с небольшим горбом, с крупными, грубыми чертами некрасивого лица и с дефектом речи, позволявшим поначалу заподозрить в нём чуть ли не маргинала, он был, однако, начитанный мужчина, хорошо знал историю; в день зарплаты так же неспешно шел в соседний книжный и покупал новинки по истории, показывал Розочке и уговаривал тоже купить. Говорили и о политике, довольно даже между ними бурные случались споры во дворе за магазином, у крохотного садика, или перед этими самыми дверьми, если Розочка еще не успевала их надраить.

- Умом Россию не понять! кричал дворник, слегка даже подпрыгивая и наскакивая на Розочку под изумленными взглядами прохожих, на что Розочка иногда сдержанно возражала:
 - Понять ее можно только жопой.

В учетной карточке ОВИРа при оформлении документов для выезда на постоянное место жительства за пределы России так и было записано у Розочки в графе «специальность» – по последней записи в трудовой книжке: «стеклопротирщик», чему она немало радовалась и, наверное, хихикает до сих пор. Нет, ну можно, конечно, как угодно подробно и в соответствующем психологическом ключе высветить

сомнения и колебания, причины и следствия... а может быть, и не было сомнений и колебаний, а решение уехать пришло для нее самой неожиданно и внезапно, словно озарение. По крайней мере, пока еще сидели тесной компанийкой в комнате окнами на Кремль, ничего такого не приходило в Розочкину многовариантную голову. Даже когда уезжала с семьей приятельница Лена из отдела классификации, с четвертого этажа, и сказала: «Ты поедешь со мной!». А Розочка промолчала, возражать не стала, хотя в мыслях тогда ничего такого не было. Сын был еще маленький. А увозить его с собой, сжигать все корабли, решать за него его последующую всю жизнь — этого и в мыслях не было.

Сейчас сыну было за тридцать. Достаточно самостоятельный, коммуникабельный, он вписался, как многие его сверстники, в теперешнюю, по расхожему названию, рыночную экономику; в свое время он закончил вуз и был, что весьма ее устраивало, в согласии с самим собой. Они ладили. Розочка давно уже не лезла в его дела. Ему первому о своем решении сказала.

– Израиль для меня вообще волшебная страна, – туманно пояснила она, и немного подумав, добавила. – Для меня самой это неожиданно. Я раньше и не думала... Вдруг как-то сразу.

Он молчал озадаченно. Кажется, не очень ей поверил.

- Есть несколько причин, опять-таки туманно добавила она, две или три... Придумаешь, как решить одну, вылезает другая. И каждой одной достаточно!
- (...) Жизнь между тем продолжалась в растянувшийся период прощания. В едва забрезжившем рассвете неуклонно менялись берега, мимо которых дрейфовал огромный корабль то с пробуждающейся, то с вновь спящей командой.

Продолжался НЭП. Оптовые рынки у станций метро вдруг заломились от изобилия, киоски запестрели красочными, манящими и завораживающими упаковками. Люди между длинными, тесно уставленными рядами бродили ошалело, не успев еще привыкнуть и поверить, — не раз и не два их уже обмануло, подставило родное государство, — с напряжением, читавшимся в глазах, каждый в уме прикидывал, подсчитывал, какой и на сколько он сможет сегодня купить себе еды...

Розочка тоже между рядами ходила в длинном защитного цвета плаще и коричневой беретке, бледная, с бледными щеками и плохо прокрашенными волосами, тоже считала, а в голове тоненько звучала и не уходила мелодия, она даже напевала тихонько: «И мой сурок со мною...» Тихо удивлялась: почему, причем тут сурок?

Было пасмурно и сухо; грустно и волшебно. На оставшихся непокрытыми асфальтом клочках земли, газонах, пустырях трава пожухлая усеяна была давлеными ягодами рябины, которой много было в том году, говорили, что к холодной зиме.

Она уезжала поздней осенью.

2

Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю...

Спасительная была одно время нечувствительность в дни расставания и встречи на том мостике-радуге, перекинутом судьбой между прошлым, всем, что оставляла она, и гостиничным номером в Тель-Авиве, из окна которого видно было синее море и далекие яхточки, белые и разноцветные, совсем как в телепередаче «Клуб кинопутешествий», только тут все было на самом деле, хотя с трудом в это верилось. Нечувствительность еще и потому, что некогда было задумываться,

Невеликий контингент старожилов гостиницы имел обыкновение вечерами собираться у широких ступеней, спускающихся от входа, где за большими дверьми в конторке восседал администратор Марк, колоритный мужчина с обаятельными манерами одесского уголовника, шрамом в углу губ и оригинального плетения золотой цепью на красной шее.

Новоприбывшие в гостинице не задерживались. Для больших семей маклеры уже дня через три-четыре без особого труда подыскивали в ближних городах — Бат Яме, Холоне — подходящие квартиры. На Розочку же косо глянув, объявляли: «Вам надо с подселением». Пару раз, чуть задержавшись оценивающим взглядом, предлагали квартиру с соседом: «Он тихий!»

Розочка, однако, занялась поисками самостоятельно. И в один из первых дней оказалась в Иерусалиме у Лены. Через знакомых Лены узнала телефон и адрес маклерской конторы в Иерусалиме.

(...) Когда довольно поздно уже вечером ехала автобусом обратно в Тель-Авив, совсем успокоилась, боль в сердце прошла, странная наступила опустошенность и расслабленность и удовлетворенное сознание выполненного дела. Оставался даже еще один день у нее в запасе. На прощание с морем.

Едва вошла к себе в номер, – было уже около десяти вечера, – Лизочка стучала в дверь кулаком и кричала: «Роза! Роза! Где вы были?! Мы беспокоились!» Хорошо, вяло подумала Розочка, что и здесь обо мне уже кто-то беспокоится.

Выглянула в коридор. Поделилась новостью. Проходил мимо по коридору странный тот высокий старик, что месяц в больнице пролежал, объявил, что идет на море; он всегда купается поздно вечером. Всем своим уставшим, потным телом ощутила Розочка скользящую прохладу моря и поняла, что именно ей сейчас необходимо. Одна бы не пошла, только в компании.

- Я с вами пойду! Можно? Не подождете секундочку?
- Давай! охотно согласился старик.

Его звали Рувим. Пляж недалеко был от гостиницы. Пока быстро шли по освещенной огнями кафе и магазинчиков улице и мимо автостоянки, он безостановочно и не очень разборчиво что-то говорил. Розочка прислушивалась рассеянно. Он опять упомянул о «по-

терпевших», и она снова подумала, что речь идет о каких-то родственниках его, пострадавших во время войны, в Катастрофе.

Она сообщила, в свою очередь, о том, что занимало ее мысли, похвасталась: сняла сегодня квартиру в Иерусалиме.

- А вы пока тут поживете? спросила вежливо.
- Пока тут поживу, легко согласился старик и добавил: А потом куплю квартиру.

У него это вышло как-то даже небрежно. Между тем, в особенности для вновь прибывших, купить квартиру в Израиле, — это было нечто недостижимое. Это могли позволить себе только очень богатые люди. Собеседник же Розочки никак не производил впечатления богатого человека. Обыкновенный, «совкового» вида старик, довольно неухоженный и обветшалый. Розочка помолчала. Заметила осторожно, мол, как это хорошо, когда кто-то может себе такое позволить — купить квартиру! Он живо отозвался, сказав, что денег у него столько, что до конца жизни не истратить; он это произнес быстро и равнодушно, глядя в сторону, как бы между прочим; но прозвучало совсем уж недостоверно.

– Я же тебе говорю: я получил за потерпевших, – добавил он нетерпеливо. – Ты что, ничего не знаешь?

Она ничего не знала. Они уже шагали по камням рядом с пляжем.

Собрались репатриироваться всей семьей, как водится. Сперва летели рейсом Хабаровск – Комсомольск. Летчик был пьяный, потом говорили. Разбились все: жена, дочь, внук Сережа. А он выжил.

- По кусочкам меня сшивали.

Зачем?! – невольно, холодея, подумала.

Чтобы жить. Авиационная компания выплатила ему, единственному выжившему, астрономическую сумму страховки.

Хочешь, покажу? – он уже сидел на топчане и задрал рубаху.
 Она глянула быстро, искоса, но в темноте не увидела ничего.

Воздух был прохладен, а море очень теплым, как остывший чай. Рувим не купался, так и сидел неподвижно на топчане, расставив длинные ноги. Ждал, пока она, быстро окунувшись, одевалась. Так же быстро шли назад.

– А я всем деньги даю, – рассказывал Рувим как-то бездумно-машинально. – Куда мне столько? Тут парень ко мне приходил. Сидим, разговариваем, а я вижу, ну, понимаешь, что он есть хочет. Я его накормил. Денег дал.

На пределе допустимых страданий бывает, что включается скрытый резерв организма, странное и непривычное, неестественное состояние душевной анестезии, притупления чувств. А как иначе можно было пережить все это, примириться со страшной обусловленностью, взаимосвязью между обрушившимся на него нечеловеческим несчастьем и вслед за этим и именно по этой причине свалившимся на его голову сказочным богатством.

Когда шли по этажу, он позвал, махнув рукой:

Пойдем, покажу.

Вошли в номер. Альбом с фотографиями. Вот они тут все, потерпевшие. Спокойные, веселые. Жена с дочерью. Улыбающийся мальчик с ясными, как у всех мальчиков на свете, глазами. «Подожди!» — таинственно сказал старик и полез куда-то, вытащил и положил перед нею на стол клочок бумаги, то ли счет, то ли квитанцию, в глаза бросилась выписанная посредине огромная сумма. Даже сразу не охватить взглядом. Розочка вчитываться не стала, отвела глаза. Во всем этом была все-таки дикая бесчеловечность: трагедия в каком-то срезе чувств усугублялась от этого как бы счастья, разъедая несовместимостью покореженный, как и тело, мозг.

Обломки человеческих жизней, как остатки кораблекрушений, дотащившие себя до этой земли из последних сил и упавшие на берегу, пригреваемые в лучах ее солнца и разлитой в воздухе благодати.

(...) Розочка жадно вбирала новые впечатления, сказочную пестроту арабского рынка в Старом городе; завораживающую мрачность христианского храма. Посидела у каменного фонтанчика, украшенного майоликой, перед башней Давида; сорвала веточку масличного дерева и отправила в письме Катюше, большой любительнице природы. Сама как обломившаяся веточка была.

В просторном предбаннике министерства абсорбции в углу свалена была большая груда багажа: тюки, сумки, коробки, перевязанные ремнями обшарпанные чемоданы. Впереди стояла большая клетка, в ней, сбычившись, сидел здоровенный белый с серыми пятнами кот и настороженно ворочал покрасневшими безумными глазами. Прямо напротив, в нескольких шагах, оборотясь к клетке, неподвижно стоял невысокий старик, не сводивший с кота гипнотического взгляда. Розочка, пришедшая по своим делам, обходила, замедлив шаги, эту группу и глядела прикованно. А когда час спустя, выяснив свои вопросы, спускалась по той же лестнице, то все было на тех же местах: груда багажа, клетка с котом и старик. В его фигуре было что-то неестественно застывшее; подумалось даже, что он ни разу не пошевелился за этот час. Тут Розочка, окинув взглядом предбанник и обнаружив достаточное количество беспорядочно расставленных стульев, проходя мимо старика, вежливо ему заметила: не лучше ли было бы присесть? – на что старик, не поворачивая голову и не пошевелившись, не изменив позы, однако тотчас же, словно каждую минуту ожидал именно такого предложения, отозвался, возразив кратко:

– Он будет орать!

А, ну конечно! Она поняла сразу все, ей и самой приходилось возить красавицу, белую с рыжими и серыми пятнами кошку Катю в электричке, и какие концерты визгливые и неумолчные та ей закатывала. Конечно, перепуганное, уставшее животное следило чутко за малейшими движениями хозяина, готовое в любую минуту начать дикий ор, тут уж действительно будешь стоять истуканом, только б не спугнуть!

Розочка еще некоторое время постояла рядом со стариком, пока тот, по-прежнему не поворачивая головы и не шевелясь, коротко рассказал ей свою историю. В первый раз, приехав в Израиль, он прожил здесь полтора года и вернулся обратно в Россию. Что там у него произошло, но только сейчас, четыре года спустя, приехал снова, и по всему было видно, что там уж у него сожжены были все корабли, не осталось ничего и никого, кому бы он был нужен, или кто мог бы позаботиться о нем и пожалеть его. Но и здесь у него, должно быть, появились проблемы с оформлением, восстановлением статуса... И тут тоже у него не было никогошеньки, к кому можно было бы обратиться за помощью, ни жилья и ни денег, только этот взъерошенный, со свалявшейся шерсткой, перепуганный кот, единственное на свете живое существо, в нем кровно заинтересованное, и сил ровно настолько хватило, чтобы, дотащившись до этого угла, свалить здесь все, что у него осталось, в единственном на земле месте, где он мог еще надеяться найти помощь.

Через день, когда Розочка снова пришла туда по делам, ни старика, ни клетки с котом уже не было, только груда багажа, заметно убавившаяся, все еще оставалась в углу.

(...) И вот еще что. Оставленная родина напоминала о себе иногда в самые неожиданные моменты – мгновенно и отчетливо возникающими перед внутренним зрением картинками. Улицы, места, дома — но без людей. Заснеженная кривая улочка недалеко от Бульварного кольца; серебристые фонари на Большой Бронной у выхода на Тверскую; церковка на зеленом пригорке у Нового Арбата. Вставали и исчезали безмолвно, безвопросно.

За ветхим, низеньким заборчиком – огород с двумя ветвистыми черемухами на задах, весной оба дерева покрывались нежным, душистым, белым цветом. Куст сирени перед вываливающимся окошком.

Розочка, городская жительница, просиживала на огороде часами на корточках, терпеливо выдергивая с корнем отросшие за время ее двухнедельного отсутствия сорняки, ласково окучивая маленькие росточки. Смеясь, утверждала, что в генах у нее есть крестьянская жилка.

А если долго, не один час, так на корточках у земли сидеть, – заметным становилось не знакомое ранее, не похожее ни на что ощущение; словно легкий ток разливался по напряженным в постоянной, привычной спазме жилам. Легкое и еле уловимое, странное и непередаваемое словами, не то чтобы успокаивающее или расслабляющее, но – и расслабляющее, и успокаивающее, примиряющее... Она подумала, что это, наверно, было влияние земли; ее дыхание. Никогда не ощущаемое в других условиях, не обнаруживаемое никакими датчиками, едва заметное, благотворное воздействие, дыхание огромного организма. Земля звала.

И только высоко, у царских врат, Причастный тайнам, плакал ребенок О том, что никто не придет назад.

Юлия Вольт

КТО ТУТ ПЛАЧЕТ В УГОЛКЕ?

Кто тут плачет В уголке, Копит слёзы В кулачке? Для чего они ему, Не известно никому... Овсей Дриз

Моя маленькая жизнь, кому она может быть интересна?

Людей так много, они думают о себе, о начальнике, о чертовом колесе, о положении в Африке. А он мне говорит, что у него есть причина... А мама у него, знаете ли, на продовольственном складе работает... А в кинотеатрах новый кассовый фильм, а по телевизору фильм о молодом и принципиальном следователе... Но, помните, у Грина и женщины, и мужчины чертят геометрические фигурки на песке? Какой расчет они производят в мыслях? Может быть, рассчитывают скорость звезды, а может быть, силу сердца или холод ума.

А я живу. Живу без суперидеи. И не берусь сравнивать себя даже с людьми, не то, что со звездами. А говорят, у каждого здорового человека должна быть мания величия. Говорят, что без мании величия жизнь не имеет смысла. «Плохо не должен жить тот, кто не живет хорошо», — слова какого-то древнего Менандра, в одном из бестселлеров цитировали. Но что же делать? Остался след на руке, но моя смерть прошла. Я все время догоняю ее по длинному извилистому коридору. И, кажется, мелькнул ее подол впереди — завизжали шины, закрылись глаза, больно ткнулась лбом в стекло — и всё, едем дальше.

Не пью, не курю, не матерюсь. Нормальная я! Даже чересчур. Может быть, поэтому и причины у меня нет... А вот у него есть причина...

Мы с ним в кино ни разу вместе не ходили. Всё время врозь и на разные фильмы. Потом впечатлениями обмениваемся. Обменивались. Хоть бы случилось ещё раз обменяться... Хоть бы случилось...

Я вообще-то ни в кино, ни в музыке ничего не понимаю. Фильм гениальный смотрела – уснула нечаянно. Жарко в зале очень было. Слава Богу, он этот фильм видел, и мне удалось просто поддакивать. Больше всего на свете я люблю ему поддакивать. Только спорить почему-то чаще приходилось.

Он, знаете ли, цветы не любит покупать. Я ему говорю: – Какой ты прагматик!

А он смутился:

– Цветы должны цвести. Сорванные цветы становятся травой.

У него есть причина. И, наверное, есть суперидея. А я живу просто. Маленькие горести, маленькие радости, маленькие денежки. Икру чёрную, можете себе представить, всего раз в жизни ела. Не то, что вкуса, – внешнего вида не помню. У меня вообще плохая зрительная память. Подруги однажды подшутили – с одним парнем трижды знакомили. А маму мою прямо трясет от моей рассеянности. Ни разу еще из дому с обеими перчатками не вышла. А возвращаюсь – плохая примета, ну и, конечно, каждый день насмарку. День за днем, и все попусту.

Однажды в грузина влюбилась. Со стройотрядом в средней полосе России была, в черноземном районе. А он там шофёром работал и мне розы возил. Они там дешёвые, знаете ли. Влюбилась, да и отлюбилась, естественно. Женатым оказался. Грузины редко неженатыми бывают, только жен с собой в среднюю полосу не берут. Интересно, сколько у него детей? У хороших людей детей должно быть много.

Ещё, знаете, случай какой со мной был? В лотерею выиграла. Рубль всего, но дело-то не в деньгах, а в самом принципе: выиграла, значит – везучая.

А недавно мимо церкви проходила – бабке-алкашке медяк на милостыню кинула. Только когда отошла – сообразила, что у неё в шапке все деньги беленькие, и только моя – жёлтенькая. Жадная я, что ли? Жадных никто не любит...

По радио номер счёта в банке передают – для сострадания пострадавшим. А я, как назло, туфли себе купила. Австрийские. Денег от стипендии ни копейки не осталось.

Я же с родителями живу! Тут, как говорится, никакого двойного смысла и подтекст – прямо в глаза. Только проблемы отцов и детей нет. Есть проблема сосуществования. У нас столько прав и свобод провозглашено, государство даже тайну переписки блюсти обещает, а человечество всё равно просит права на личную жизнь.

А он говорил, что он марксист. Я тогда выпендривалась — о Фрейде рассуждала. А он — раз, и обрубил. Он умеет. Что-нибудь как скажет, так руки по швам вытянуть хочется и о душе подумать. Он верит, что если человек произошёл от обезьяны, то и от человека кто-то должен произойти. А я с ним спорила. А он:

– Ты не оригинальна. Мой старый друг Людвиг Фейербах тоже так считал, но оказалось, что все развивается по спирали.

Он не может быть не марксистом, ему в институте философию сын Каменева преподавал. А я просто живу.

По улице когда иду, все с ним спорю, все ему что-то доказываю. Даже люди оглядываются. Не вслух говорю, но мимика на лице включается. А он — я видела два раза со стороны — тоже от улицы абстрагируется, а в глазах дверь с надписью «Осторожно! Мыслю». Только со мной он на улице не разговаривает, вот и вся разница.

Я его люблю, наверное. Я к тому все свои разглагольствования затеяла, чтобы сказать наконец-то, что я его люблю. Я всегда о главном говорить не могу — нервная икота начинается. Серьезно. Главное иногда само прорывается, между делом. Никто и не понимает, что это — главное. Все ищут смысл в ответах на вопросы да в откровениях, а фразы мимо ушей пропускают. Даже идиома такая есть — «пустые фразы». Может быть, мне и надо по-другому жить, да кто научит?!

Я люблю деревья зимой. Я ему говорю:

 Сколько можно паять? Брось ты свои резисторы-транзисторы хоть на вечер. Пошли гулять! Я люблю деревья зимой.

А он говорит, что любит звезды летом. Мы с ним разные люди. Он летом на Сахалине был. Не знаю, есть ли там звезды, но зэков — тьма-тьмущая. Он мне сам рассказывал. Там какой-то дед Абдула живет. Комплекцией с медведя. Они что-то не поделили, так татарин этот престарелый ночью его душить пришел. А мне от рассказов таких покойники снились и трупный запах, а наяву я ни разу еще покойников не видела.

И всё думаю теперь, кто из нас умрет первым, и знаю теперь, почему все сказки народные с одинаковым концом. Потому что самое большое счастье — умереть в один день, чтобы никто не видел, как смерть уродует любимое лицо. А я, дура, страдаю, что он красивой меня не видит. Вот животные не делятся на красивых и некрасивых. Только человечество придумало такое развлечение. До чего ж горазд ум на извращения! Всё и вся на классы ему поделить надо. А не кощунственна, наверное, только одна классификация — на живых и неживых. Жизнь и смерть. И всё. Больше ничего нет.

Меня ещё ни разу во сне не душили. А он говорит, что только сначала испугался, а потом смешно стало. Ему всё время смешно. Ночью лица его не вижу, а зубы вижу.

Он и обо мне по себе судит. Однажды всхлипнула в темноте, а он спрашивает:

- Что ты смеешься?
- Над собой, говорю, смеюсь. Не над чем больше.
- Вот-вот. Я тоже с утра до вечера, с утра до вечера над собой только и смеюсь.

ТЕРПЕЛИВИЦА

Стыдно-то как, что отчества бабушки Александры я не помню. Семеновна? Григорьевна? Сергеевна? Вспомнила имя, хоть и пришло первым на ум имя моей собственной бабушки – Анна. Но потом всплыло, что некоторые называли старуху бабой Шурой, поэтому я совершенно точно определилась с именем. Вспомнила год рождения – тысяча девятьсот пятый. Вспомнила даже, как звали ее супруга – Воронцов Иван Антонович. А вот отчества самой Александры Воронцовой не смогла вспомнить, хоть режьте меня.

Я ее называла просто бабушкой, вслед за ее родными внуками Светкой, Витькой, Юркой, потому что была Светкиной закадычной подружкой. Когда хоронили старушку и толпились вокруг гроба, Витька, Светкин старший брат, сказал мне требовательно:

Поцелуй бабушку!

Черты его лица смягчились, на нем отразилось полнейшее удовлетворение тем, что не побрезговала я прикоснуться к желтому лбу покойницы...

Признаюсь, что случались моменты, которые мне, городской, тяжело было переварить. Давилась я «волосатым» холодцом («Бабушка плохо видит») и огромными лопухами вареного лука во щах (отменного вкуса, если бы не лук). А кроме перечисленных – недостатков у бабушки просто не было.

Скончалась бабушка весной, в восемьдесят с небольшим, прохворав всю зиму. В последние годы она каждую зиму хворала, но только снег сходил – поднималась как штык.

А в этот раз не хватило старушке силенок, не дотянула до лета. Хотя, казалось бы, и за год до смерти уже в лежку лежала. Мне Светка рассказывала:

– Представляешь, я в обеденный перерыв мчусь на такси домой, чтобы бабушке капельницу поставить, а ее и след простыл. Она встала, собрала рюкзачок и на дачу уехала

Благодаря даче, а не капельницам, еще годик и прожила. Вот и дочка заведовала аптекой, вот и внучка медсестрой уже стала, а только огород и спасал. Зря, наверное, дом в деревне продала и к дочке в город переехала.

Стыдно вспомнить, как мы кучковались у бабушки на голове! Нам со Светкой – по четырнадцать-пятнадцать, да по шестнадцать-семнадцать – Витьке с Юркой (еще один бабушкин внук, Светке с Витькой – двоюродный брат).

Самый возраст – сутками в «тыщу» резаться. Бабушка или на кухне кастрюлями гремит, или в уголке лоскутные половички вяжет. И редко когда, перекрикивая музыку, попросит:

- Сделайте тише! У меня голова болит.

Великой терпеливицей была. От нашей музыки, и что уж греха таить, от табачного дыма только на даче спасалась. Дача – это шесть соток в Мочище, сортир и сарай для садового инвентаря. Сарай, но с топчаном, на котором восьмидесятилетняя женщина ночевать ухитрялась.

Подчеркиваю, что бабушку туда никто не гнал. Но и помогать ей не помогали. За продуктами она сама в город периодически наведывалась.

А в сентябре каждый день с рюкзачком туда-обратно моталась – урожай вывозила. Во всех углах квартиры развешивала чулки, набитые луковыми и чесночными головками, создающими специфический аромат, но зато овощи всю долгую зиму не портились.

У Тоньки-дочки еще одна дача была — всем дачникам на зависть. На Издревой есть дивные места: сосновый бор возле реки Ини и родники по всему берегу. Там у Тоньки был добротный дом — сруб. Дочка — даром, что ли, деревенская? — тоже землю любила и летом на Издревой жила, в городскую квартиру почти не заглядывая. С Издревой на работу ездила и обратно.

Если медицинский спирт не водопроводной водой разбавлять, а родниковой, да еще и закусывать редиской с собственной грядки, то можно каждый день пить и на должности заваптекой до пенсии удерживаться.

Высокое начальство даже частые фингалы под глазами ей спускало. Еще бы! Тонька-то тоже великой терпеливицей была и работала за десятерых. Грузчик не вышел – Тонька за грузчика. Посудомойщица на больничном – Тонька и пробирки встанет мыть.

Один недостаток – к горькой пристрастилась. С первым мужем развелась, второй умер, а третьим такой гад-сожитель достался: любил пить дома, но не один, и Тоньку рядом с собой усаживал. Плохо это, когда доступ к спирту неограничен. Плохо, когда огненная водица льется и не кончается.

Не понимала бабушка Александра, почему всех ее детей водка завлекла. Выросли же в непьющей семье!

Иван Антонович не пил, жену не бил. Не только не пил, но и в другом смысле оберегал – пятерых детей Александра ему родила, за всю жизнь ни одного аборта не сделав. Грамотным был муж, хоть и не фельдшером, а почтальоном работал. Иное дело – Тонькины мужья.

Иное дело – город. От города все беды!

Сбежала за год до смерти бабушка от капельницы с дефицитными лекарствами, и все лето в земле на даче проковырялась, и снова урожай на себе вывезла.

Проза

Мы уже на ее голове не кучковались, потому что выросли и собственными семьями обзавелись. Но я бабушку навещала иногда. Помню, сказала я ей в ту, последнюю для нее, осень:

- Вам, бабушка, главное зиму перезимовать, до лета дотянуть, а снег сойдет, и снова возле земли лечиться будете.
 - Да знаю я, но болеть-то как тяжело! Так тяжело!
 Великой терпеливицей была, истинной русской женщиной.

Евгений Минин

ЗАДУМЧИВОЕ

Проходит жизнь. Точнее – ты проходишь её, как неизведанный маршрут. Естественно, тебя ведут за ручку вначале, опекая, а затем всё сам, всё сам – иди и спотыкайся, не всюду под ногами гладь асфальта, а если уж споткнулся, отожмись наращивай себе мускулатуру, идти придётся долго и упорно -Бог весть, кого ты встретишь на пути, кого ударом надо успокоить, чтоб видеть без помехи горизонт. А если он тебя собьёт с усталых ног, возьми и снова отожмись раз двести тебе ж ещё в аптеках предстоит снадобья добывать для выживанья. и с палочкой по скверикам гулять, и птичек слушать, а когда толпа, бегущих без оглядки пацанов тебя снесёт, как ветром сносит башню, не вздумай отжиматься – просто жди, как говорил поэт в стишке каком-то. Тебя поднимут и перебинтуют. Ну, а когда появится нужда, то в уголке кладбища закопают, тогда уже ты точно не поймёшь, что жизнь прекрасна...

ЛЕТОМ

Майны за лето поправились, как перепёлки. деревья растут всё выше, а дни длиннее, долдонят вороны — у них свои кривотолки, а мимо в мини — Офелии и Дульсинеи. Зимою солнце работает сверхурочно, всплывая, как юный поэт, к своему апогею. Смотрю на Эдем — а в душе ни строчки. Возможно, потом сочиню, если успею...

УЖЕ...

Похожим стал на сову, смотрю не понять куда, Ночь стала роднее дня, а час порой без границ. И дети уже – кто где, и внуков уже орда, И во дворе уже понятен мне щебет птиц. Свечу зажигаю в шабат, в молитве своей не лгу, Уже ничего не прошу, хватает на хлеб и халву. На пенсии нынче я – Минфин у меня в долгу, И на его бюджет, я думаю, проживу...

О СТИХАХ

Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда.. Анна Ахматова

Стихи растут быстрей, чем просо и пшеница, Поскольку сочинять все нынче мастера. Всё терпит монитор, не ломит поясница, И с музою поэт колдует до утра. Не блещет мысль в стихах – всё под лавиной вздора, В них правит эпатаж с каких не помню пор. Сказала Анна, что стихи растут из сора, Теперь наоборот – в стихи сметают сор...

* * *

Всё в газетах ложь или пропаганда, Но информацию и желтизну смешивают игриво: В Гонконге умерла самая старая панда, В Донбассе погиб «Моторола» во время взрыва. И уже забывается, что война на границе, Дни коротки под осень и опадает листва. Что напишут в газетах, то и ночами снится, И в мозгу не прибавится серого вещества...

* * *

На фоне водопада как Шерлок Холмс стою, чего пугаться ада, когда живёшь в раю с любимыми со всеми. И знает звездочёт, что неподвижно время, пока вода течёт.

* * *

Хочу быть линией, прочерченной алмазом, хотя, полагаю, мало для этого делаю, чтобы она, неприметная глазу отделила чёрное от всего белого.

В литературе нет совместного водопоя, за территорию бьются до каждого миллиметра. Чёрное — это серое, ставшее толпою, а белое — это вся радуга спектра...

* * *

Замерло всё накануне шабата, свечка застыла стройнее солдата, солнце укутал небесный талит, и в синагогу ребе спешит. Вечер приходит в субботней ермолке, а безработный будильник на полке ходит неточно уже от ленцы — вроде на пенсию вышли жильцы.

ФРЕНД

Я с ним встречался очень мало, да и дружили – не ахти. Когда ж болезнь его сломала, то стало стыдно не зайти. – Не поднимай в сети шумиху, к чему мне скорбная возня, когда умру, – сказал он тихо. – И... не отфренживай меня.

ПЕНСИОННОЕ

Выплыл из водоворота, жив-здоров, и всем привет! Всё – прощай моя работа, детский гам и педсовет. Как пацан, легко и клёво, буду жить не по летам. Наступает не game over, а точнее – overtime...

СОЧИНЕНИЕ СТИХОВ

Безобидное занятье – сочинение стихов. Ночь сидишь, кромсаешь строки, рифмы бегают в мозгу. Всю неделю будешь править, восхищаясь сам собой. Отошлёшь в журнал, а после отошлёт журнал тебя. Лучший друг прочтёт и скажет – это ж полное говно. Все верёвки с мылом спрячет чёрт-те знает где жена. С крыши виден чудный город, птицей хочется лететь. Безобидное занятье – сочинение стихов.

* * *

Только солнце взойдёт и растает на небе рассвет, проснётся чудище — миллионнорукий интернет, поведёт оно в сумрачный лес, на дантовские круги: этот желчь разливает, видимо, встал не с той ноги, а другой матюкается страшно —

видно, жизнь огрела вожжой, а этой ночь стала раем, и стал ей своим чужой. Кто-то был обманут, а кто-то вдруг стал богат. И вот так весь день. Но уже, слава Богу, закат...

* * *

Покидая страну своего языка, на котором писал, думал – всё, на века. Из галута вернулся, как тот блудный сын, получив со страной и террор, и хамсин. Что ж, у каждого с детства Голгофа своя, у кого-то – тропа, у кого - колея, и какие нас ждут города и края, мы живём и не знаем, но только пока. А Всевышний сидит, сочиняет сюжет, тот, в котором бессмертья у смертного нет, на котором замешаны радость и грусть, отделить их мечтал, но не вышло, и пусть... Но войду я когда-то в аэровокзал, из него четверть века назад улетал. Всех друзей обниму, поцелую подруг – в жизни каждого так замыкается круг.

Дина Меерсон

КОЛОДЕЦ АВРААМА

Древний курган в окрестностях Беэр-Шевы хранит дошедшие до наших дней развалины города, существовавшего 3000 лет назад, во времена праотца Авраама. А за крепостной стеной имеется колодец, возможно, один из тех, которые выкопал сам Авраам. Вода в этих засушливых местах всегда была главной драгоценностью. Легенда гласит: каждому человеку, путнику ли, пастуху ли при стаде, Авраам разрешал пользоваться водой из колодца, каждому он предлагал еду и ночлег. А в качестве платы велел гостям повторять формулу Единого Бога. Язычники, привыкшие поклоняться звездам, ветрам и ручьям, смотрели на Авраама с изумлением: этот пришелец воду в пустыне находит — не иначе, его Бог самый могущественный из всех. Пожалуй, ему сто́ит поклоняться. Так начиналось Единобожие.

Белого солнца лучи палят. Камни колодца хранят прохладу. Помнит земля: «Адонай эхад» Вам повторять отныне надо.

Скот напои и напейся сам. Вот тебе стол, и кров, и ложе. Только глаза подними к небесам: «Благословен Ты. Единый Боже»

Шел Авраам, подчинясь судьбе. Был ему Глас, одному над всеми: «В землях, что Я укажу тебе, Станешь народом, умножив семя».

Всё расскажут эти холмы – Как торговали, как воевали... Время придет, и встанем мы Здесь, на Земле Обетованной.

Только глаза подними к небесам. Солнце палит, но мороз по коже. И, как тысячи лет назад: «Благословен Ты, Единый Боже».

_

Адонай эхад – Бог Единый (ивр.)

МЕЦАДА

Есть в окрестностях Мертвого моря крепость Мецада — свидетельство кровавых и неоднозначных прежних дней. Раскопанная археологами крепость на вершине неприступной скалы была последним оплотом горстки евреев-повстанцев, сражавшихся не с кем нибудь, а с Римской империей. Три года длилось это безумное по своей затее восстание. Итог был предрешен. Римляне восстание подавили, а народ оказался в изгнании, продолжавшемся 2000 лет. Последний эпизод этой войны — взятие Мецады. Когда римские войска ворвались в осажденную крепость, они увидели, что остававшиеся там люди, всего 967 человек, включая женщин и детей, покончили с собой, чтобы не сдаться живыми. Точнее, мужчины, по указанию своего вождя, фанатика, (героя? безумца?) убили своих жен и детей, потом по жребию перебили друг друга. Оставшиеся десять человек демонстративно подожгли пищевые склады, чтобы показать, что не от голода они сдаются, и бросились со скалы.

Отвернись, отведи глаза. Не смотри на меня, не надо. Я убью тебя. Он сказал, Что не сдастся врагу Меца́да.

Ты ж не хочешь достаться им. Шансов нет, и не ждет пощада. Горстка нас, а за ними – Рим. Но не сдастся врагу Меца́да.

Я люблю тебя, видит Бог. Ты жена моя и отрада. Мне и скалы с тобой – чертог. Но не сдастся врагу Меца́да.

Штурм на редкость коротким был. Где же пленные? Вот досада! Только трупы, огонь и дым. Не сдается врагу Меца́да.

* * *

Все прошло, все пройдет. Так мудрец нам сказал. Просто время разбрасывать камни. Но дорога пылит, но устали глаза, Мы остались с пустыми руками.

Проливаются зимним дождем облака, Обжигает горячее лето. Книгу Книг мы свою не осилим никак, Все читаем Скрижали Завета.

ШМА, ИСРАЭЛЬ

ı

Империя в гневе. Римский сапог Разносит еврейский Храм. Законом императора запрещен этот бог. Народ, вон отсюда ко всем чертям. Бей евреев, где б они ни оказались. Judea Capta. Занавес.

Ш

Над всей Испанией пылающее небо. Инквизиция складывает дрова для костра. Числился братом во Христе, а на деле им не был? Гореть тебе. И да пребудет страх С каждым, кто не доносит на скрытых евреев, Которых выгнать вон поскорее, Предварительно имущество отобрав.

Ш

Дойчланд, Дойчланд юбер аллес. Хрустальная ночь для каждого крючконосого. Неарийская кровь затесалась? Окончательное решение еврейского вопроса. Костры — для книг. Для людей есть печи. Эффективнее и технически легче. Под звуки Вагнера – дым в небесную просинь.

IV.

Не по паспорту бьют, а по морде.
Пятая графа – клеймо, пятно.
Весь мир знает русское слово «погромы».
Это было при царизме. Сегодня другое кино.
Космополиты, врачи-убийцы,
Кого интересуют ваши слезы и стоны?
Пожалуйте в товарные вагоны.
А Ближний Восток или Дальний, не все ли равно?

V.

Элия Капитолина, костры и печи. Протоколы сионских мудрецов. Болота. Пустыня. Стена плача. Обетованная Земля отцов. Не вытерпят. Не выживут. Сумеют едва ли. Выдержали. Построили. Отвоевали. Сегодня мы здесь, на своей земле. Шма, Исраэль.

СТАРЫЙ ЯФФО

Старый Яффо в ленивой истоме. Рассыпают вязь переулки. Море тысячи лет стонет, Звук шагов приглушает гулкий. Бродят тени толпой нестройной, Как дверьми, ошибаясь веками: Старый Ной, что Ковчег свой строил, И апостол по прозвищу Камень. Здесь Персея ждала принцесса, Хитрый кит поджидал Иону, Крестоносцы, войска Рамзеса, Присягнули Наполеону. Сквозь туманы тысячелетий, На ветрах, что все так же дуют, Рыбаки вечно тянут сети, А купцы серебром торгуют. Левантийское покрывало. Пыль веков тихо в море тонет... И живет, как ни в чем не бывало, Старый Яффо в ленивой истоме.

ИЕРУСАЛИМ

Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука (127-й Псалом Давида)

На семи холмах, на семи ветрах, То сожженный в дым, то разбитый в прах, Каждый раз он рождается заново, неистребим. Здесь был создан мир, здесь начало лет, Даже камни здесь излучают свет. Чтоб молиться, к тебе подымаются, Иерусалим.

Подойду к Стене, загляну в себя. Попрошу того, без чего нельзя. И пойму, что не все вокруг – суета сует. Мне бы Дух впитать, мне бы Свет вдохнуть, И вот-вот откроет мне жизни суть Этот Город, которому равного в мире нет.

В суматохе дней, в круговерти дел, И в земле чужой, коль таков удел, Мне его не забыть, а иначе отсохнет рука. Поколенья ждут, и века идут. Будет Суд нам – тут, и Мессия – тут, И дорога, что выведет к Храму издалека.

Сусанна Черноброва

ИЗ ЦИКЛА «МАРИНА»

1

Мне снилось,что ветер Мосты раскачал, Нас море пришло Проводить на вокзал.

Об окна вагонные Бьется прибой, И море с перрона Нам машет волной.

И рельсы ручьями За талой водой, И ты вместе с ними, И я за тобой.

В стаканах дорожное Плещет вино, Ты понял, что попросту Море пьяно.

С похмелья подумал: В пути есть питье, Не выпить бы залпом Всё море своё.

Зеленый и красный И синий глоток, Но море, как тормоз, Вцепилось в песок.

2

Спешат паруса В полотняную ширь, Там климат суровый, Морская Сибирь.

В ночи паруса, Словно листья, шуршат, Но волнам не нужен Морской листопад,

Поэзия

Наполнены трюмы, Плывут корабли В морскую могилу Насыпать земли.

Сажает никто В корабельную тень В морскую небесность Земную сирень

И ветку втыкает В газон водяной, И море шуршит Затонувшей листвой.

* * *

Говорят стволам ковыли, Вы пойдете на костыли,

Городам: вы на снос, на слом, На обломки, металлолом.

Все твердили скопленью торб: Из вас будет ненужный горб.

Все искал прошлогодний снег Желтый пес среди старых дач.

Ты искал и время, и смех. А нашел пространство и плач...

* * *

Над станцией метель белым-бела, Ведущая составы за собою, Как призрачна, как судоходна мгла, Где корабли проходят чередою. И жизнь, прощая темные дела, Дни, полные причудливого зла, Как оказалось, попросту прошла.

Она совсем не чашею была Из тонкого озерного стекла, Была свеча зажженною слезою, В музейном зале радуга росла, Но судорога линии свела, И в чистом поле светлого угла Нам не сыскать под крышей голубою.

* * *

Темная дорога, голоса и ветер. Только и осталось радости на свете...

А хотелось малости. Синевы да алости. И немного милости И немного жалости «Только не горелого» В булочной Поспелова И немного белого Ландыша незрелого.

ЕЩЁ ПРО ЛИСТОПАД

Листопад в Гило, листопад. Листья красные нарасхват

Нам с тобой опять повезло, Листопад залетел в Гило.

Весь во флагах. праздничен так Развеселый этот сквозняк.

Сплавил вместе золото, медь, В его пламени нам гореть.

Листья в мае рождались маяться, В октябре улетали стариться.

В куче мусора во дворе Листопад умрет в декабре

К предпоследнему четвергу, Похоронят его в снегу

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОВАЛЫ

Вольнее пастбищ не найти — но всё же я б не променял клочка земли с сухой травой на этот голубой провал. Виктор Луферов

Помню я, как ты напевал Песню про голубой провал.

Шел ты осенью напролом, Самый желтый видел пролом,

Поэзия

А на Калею самый серый – Дом снесенный, лестница, двери,

Самый радужный, в бликах весь – Он, наверное где-то есть.

Понял я: смысл и суть – Самый белый-пребелый путь

Самый черный видеть нельзя, По нему уходят друзья.

* * *

На скамейке «Темные аллеи» Свет окна на темноту похож, Самой темной темноты темнее Темнота, попавшая под дождь.

Будет встреча в свете эдектрички, И в палате будет тишина, До сих пор не понята привычка Стариков садиться у окна.

Всех, кто умер, «скорой» не дождавшись, На прощанье фары ослепят, В пропасти, со всех зеркал сорвавшись, Солнечные зайчики кружат.

Валентина Бендерская

ИЗ ЦИКЛА «ТЕЛЬ-АВИВСКИЕ ВАРИАЦИИ»

Люблю тебя, мой Тель-Авив! Гулять по улочкам пустым, Когда в душе любви прилив, И перезревших чувств отлив, И шторм в подкожной бухте...

Люблю ночной твой мягкий бриз, Прохладу в дом несущий, Плеск тихий волн, и кипарис Уснувший, в лоне лунных риз, Закутанный, как в юхте.

Люблю прибой, теснящий брег, В лицо – плевки солёных волн, Скитальцев моря, как абрек, Неустрашимых... Их набег На пирс, разлёт на кнехте...

Мой Тель-Авив, теперь – родной! Трепещет в сердце счастье, Когда лечу к себе домой, В шум окунаюсь с головой, – Прибой всегда на вахте!

МАССАДА

В земле природы обветшалой, Покрытой пылью всех веков, В расщелине годины шалой, С прозреньем веры запоздалой Утихли натиски врагов.

Солёно-горькая водица, Разлом заполнив до краёв, Туркизом* призрачным искрится, Манит, но ею не напиться, Не напоить земли покров.

В сей чаше ветры одичали, Здесь ненасытная беда Со злом трагедию зачали, Здесь слёзы высохшей печали Окаменели навсегда.

^{*}Туркиз – цвет бирюзы

УЛИЦА БУГРАШОВ

К морю шагаю по линии Буграшов. Пятидесятый размер -Шорты на мне, наизнанку шов Майки в полоску... Сер, Вида невнятного и неопрятного – Брусчатый гобелен... Да неприглядна для глаза залётного Старость потёртых стен. А я шагаю свободно, и дорог мне В меру горбатый наст, Ставни из прошлого, прошлая жизнь в окне – Невозвратимый пласт... Высятся к небу, собою любуются, Чтя городской кряж, Новые башни, держа фасон улицы, Носом уткнувшейся в пляж. Видные домики: чистые гладкие, Только совсем другой Стиль оголяется: нищий загадками. И, к сожаленью, немой...

НЕТ У ДУШИ ОДИНОЧЕСТВА

Билась уткой с подбитым крылом, ныла болью зубной беспрестанно, занималась пустым ремеслом, угождая немилому... Странно,

как боялась она быть сама одинокой, забытой, раздетой... Ей казалось, что в тех теремах златокудрых, что высятся где-то,

где народу полно, шум и гам – там ей место, со звоном посуды... Открыта навстречу ветрам нараспашку, с улыбкою Будды...

Но однажды ей будничность дел принесла откровенье в тиши, что болит одиночество тел... Одиночества нет у души!

ИЗ ЦИКЛА «НА СВИДАНИЕ К НЕРЕЮ»

Сгущённый антрацитовый покров с замедленным движеньем киноплёнки мостил заботливой рукою кров над тающей зарёй в морской рифлёнке. Накалом восставали фонари в сто лун вслед уходящему закату; а волны, словно в полдень косари, в скирды укладывали пены вату; да сейша колыхала строгий буй, баюкала забытую панамку, старателем в ней промывала струй песчаных злата жареную манку. Безмолвие, живущее в песках, ловила я в купели мирозданья, и выплеснулись в вечер, как хамса из сети в трюмы, блиц-слова признанья.

ПЕРЕЗВОНЫ

Валерию Гаврилину

Звоны, звоны, перезвоны... Звон души, как звон Руси, Перед смертушкой иконы Над народом пронеси,

Перестуки соловецких, Мертвецов, могильный стон И тюремный лязг советских Обескровленных времён...

Вновь, как льда по рекам вздутым, Лом пойдёт по всей земле, Боль разрыва, буря смуты И хрипение в петле....

Будут рвать её потомки Бунтарей и быдляков На бурлацкие котомки И на лязганье оков...

Этот лязг Руси Великой – Ярославны плач извек понесёт в строю безликом умерщвлённый человек.

УКРАИНСКИЙ МОТИВ

Я из мира сего: я – из песен и мо́вы, Из цветов и листвы, вышиванок и лент, Из вишнёвого сока и яблок медовых, Из росы на лугах и тумана у рек. Я – из хлеба ржаного, щедрот каравая, Из истории пращуров вольных кровей, Из воды родниковой Полесского края, Украинской земли незасохших корней...

ПО ПУТИ В СТРАНУ ОРХИДЕЙ

В перламутровых створках туч Играла жемчужина солнца... Метко глаз поразил острый луч, Словно меч самурая-японца.

На колени б поставил фантом, Да ослепла от чар фотовспышки, Сражена наповал, столбняком, Как в музее «Данаей» – мальчишки...

Но следить за её баловством Продолжала, прикрыв томно веки: Как по небу дырявым ковшом Разливала порфирные реки;

В репрессалии пурпурных туч Раскалялась, как нити вольфрама; А потом, из темницы онуч Выходила свободой Приама...

Следом – как и в Юра, и в Архей – На просторе Такама-но хара Выступал хоровод орхидей Из воздушного белого пара,

Будто крылья с резьбой гребешка Цапли той, что упала в росу Чудным цветом к ногам пастушка С откровеньем Аматэрасу:*

«Проходящее всё в мире поз, Как полёт этих царственных птиц... Красота только вечна... вне слёз, Вне желаний, вне всяких границ!»

^{*}Аматэрасу («великое божество, озаряющее небеса») – богиня-солнце, одно из главенствующих божеств японского пантеона в религии синтоизма

Борис Берлин

ПОРТРЕТ ЕГО ЖЕНЫ. СУЛАМИФЬ

Это же так просто

- Как ты думаешь, сколько мне лет?
- Я не думаю, я знаю. Я вообще знаю тебя, как облупленную. Тебе тридцать. С дли-и-инным хвостиком.
 - С каким еще хвостиком?
- Как с каким? Который у тебя на макушке, конечно. Как раз я в него сейчас носом тычусь.
- А вот и нет. Я сегодня посчитала, выходит, что мне уже шестьдесят.
 - Ну, ты и хватила. Откуда шестьдесят-то?
- Очень просто. По Эйнштейну все относительно, по крайней мере, в пределах нашего привычного пространства-времени. То есть всё влияет на всё и существует относительно всего.
- Это что, теория относительности на сон грядущий? Вместо снотворного? Ну-ну, чем ты меня еще удивишь? Давай, самое время. Ну?

Она поудобнее устраивается рядом и бормочет – уже почти засыпая:

- Так я и подумала, что если это верно не только для всей вселенной, а и для каждого из нас вообще, то главный вопрос вовсе не быть или не быть, а если быть то относительно кого? Вот мы с тобой не просто живем, а относительно друг друга и притягиваемся тоже друг к другу. Замкнутая система... И поэтому жизнь каждого из нас умножается на два. Как и всё остальное... И значит, уже совсем едва слышно, мне... шестьдесят...
- Погоди, я прижимаю ее к себе еще крепче и чуть тормошу.
 Не засыпай, погоди. Ты вот скажи, а что тогда происходит со смертью?
 - Смерть делится... на ноль...
 - На ноль делить нельзя, это не имеет смысла.
 - Смысл есть во всем...
 - Hv. хорошо. И что?
- И получается... бесконечность. Это же так просто, господи...
 Спокойной ночи...

Иногда мне даже кажется, что она права, и все на самом деле так просто. Особенно в такие моменты, как сейчас – настроение у нее, слава богу, хорошее, да и картины в последнее время неплохо продаются.

Может, мы даже заведем собаку. Ведь завести кого-то надо обязательно. А детей нам нельзя. Нельзя, и всё.

И еще. То, что мы проживаем с моей ненаглядной женой, это вовсе не жизнь и не любовь. Скорее всего, это борьба. Она – Лами – борется с собой, а я борюсь за нее. Почему?

Давайте я расскажу, как это у нас обычно бывает.

Бывает – так

Картины свои она всегда заканчивает на рассвете. Всегда. Придет, усядется рядом на кровать – растрепанная, перепачканная, в волосах краска, подмышками темные пятна, майка – хоть выжимай.

– Ну, что? Глядеть будешь, или как?

Голос ее хриплый и насмешливый, не такой, как всегда, сам на себя непохожий. И чудится мне – не моя это жена. То есть похожа, конечно, но...

- Ну, как хочешь, она встает, поворачивается и молча уходит в мастерскую. И... Это теперь я ученый, а раньше...
- ...- Лами, что ты наделала? Отвечай! Зачем? Отвечай сейчас же, слышишь?

Она сидит поникшая на высокой табуретке посреди комнаты, в руках кухонный нож, на полу, словно разрезанное солнцем на неровные цветные полосы, то, что пять минут назад было еще невысохшим холстом. Растерзанное, истекающее кровью мое наивное счастье.

- Ты изрезала холст. Ты уничтожила свою картину зачем?
- Это не картина.
- А что же это, по-твоему?
- Мазня. Я это знаю. И ты знаешь.
- Глупости! Ты несешь чушь! Сама знаешь, что чушь. Ты художник.
 - Я не умею рисовать. Кроме цвета, там ничего нет. Мазня.
- Ты же закончила академию, ты замечательный рисовальщик. Ты училась этому годы.
 - Нет, я не умею рисовать. Не умею, и всё.

Она отворачивает лицо. Она прищуривает глаза. Сейчас она не Суламифь. Не моя Лами. И все же она моя. Она моя до тех пор, пока я нужен ей больше, чем она мне. То есть больше, чем воздух.

Когда не просто двое влюбленных – два художника, объяснить вам, что это такое? Как это? Первый живет, второй охраняет. Первый дышит, второй прикладывает руку к его груди. Первый рассказывает, второй знает. Первый пишет, второй любуется.

И никакой это не парадокс. Просто – жизнь, помноженная на два. Помните?

Её счастливые глаза

- ... уже так давно не пишешь. Почему? Пара натюрмортов и два-три пейзажа в год, это же все равно, что ничего. Для тебя ничего.
- Ты ведь знаешь, как мне некогда. Я же все время занят. На кафедре, еще живописи восемнадцать часов в неделю, выставки, издательства, частные уроки... И между прочим ты. Когда же мне?
- Да причем здесь когда? Это неважно. Ты ведь был самый талантливый на курсе, я же помню, как на тебя все молились будущий Босх. Твоими работами до сих пор вся кафедра увешана. А ты...
 - Лами, ты иногда ужасно непонятливая. Вот просто ужасно.
 - Не смей со мной так.
 - Как? Как так?
 - Как с маленькой.
 - Так ты ведь и есть маленькая. Моя маленькая. Разве нет?
 - Это из-за меня, да?
- Боже, какие глупости. Ну вот совсем. Сама-то себя ты знаешь. Знаешь, что обожаешь выдумывать и потом сама в это веришь, – на моем лице появляется улыбка, и я говорю: – Хотя в одном ты права безусловно. Всё на самом деле из-за тебя. Если бы не ты...
 - Если бы не я ты бы писал. А так...
- А так получается жизнь, умноженная на два, и хватит об этом. У нас патриархат, забыла? И еще ты забыла – я же пишу твой портрет.
 - Ага. Ты его начал, мы еще даже знакомы не были. Не ври.
- Не вру. Я его начал раньше да. Зато сразу понял, что это ты, как только тебя увидел помнишь? Подумал, надо же, какие счастливые серые глаза. А ты не ври...

Нарисовать небо

- Я не могу. Эти краски сводят меня с ума.
- Какие краски, Лами? Ты о чем? ни за что и никогда в моем голосе не услышать тревоги. Я смотрю на нее и улыбаюсь.
- Погляди сам. Это же какая-то чудовищная красота, неужели ты сам не видишь?

Она стоит у окна, по которому стекают дождевые капли – то ли сверху вниз, то ли снизу вверх, не поймешь. Одинокий красный лист дрожит на ветке за стеклом перед тем, как окончательно оторваться и умереть. Внизу, будто испуганные глаза, раскрываются разноцветные зонты. Небо постирано, подсинено, и словно в насмешку, сброшено под ноги – прямо в лужи.

- Я понимаю, что ты хочешь сказать, но все-таки это звучит странно, согласись?
- Зачем? Зачем соглашаться, если ты и так понял? В красоте страшная, просто чудовищная сила, сильнее нет ничего. Я знаю, и ты знаешь. Ах, если бы уметь рисовать!
- Слушай, я устал с тобой спорить. У тебя изумительный глаз, совершенная техника, твердая рука. Каждая твоя линия поёт. Когда я смотрю на твою графику, у меня замирает сердце между прочим от восторга. Чего тебе не хватает, скажи?
- Это всё не то. Форма, внешняя оболочка ничто. Ты же сам художник, как ты не понимаешь?
 - Я пойму, если ты объяснишь, Лами, ну?
- Как объяснить? Тебе! Вот ты стоишь и смотришь в окно, и видишь небо. А теперь представь его через секунду после того, как по нему пролетела птица. И нарисуй. Или нарисуй дождевую каплю так, чтобы было понятно, что она дождевая. Не просто цветом или пятнами линией. Ну что тут непонятного? Цвет может лишь усилить ее или приглушить, но он не может ее заменить. Нет линии нет ничего.
- Я понял. Тебя огорчает невозможность изобразить вселенную целиком. Ее душу.
- Меня это не огорчает, меня это бесит. И потом почему невозможно? У Эйнштейна получилось, я тоже хочу...

И все равно – свет

Так начинается... Потом она на неделю исчезает в мастерской, появляясь лишь изредка – поесть, прижаться мимоходом, чмокнуть на лету, – веселая, живая, неугомонная. Я готовлю чтонибудь на скорую руку, мы садимся напротив друг друга и трапезничаем, и пьем красное – обязательно красное – сухое вино. Лами убеждена, что в настоящем хорошем красном вине кроме красного есть все остальные цвета и оттенки. И мне совершенно неохота с ней спорить.

Мы болтаем и пьем, и смеемся, как дети. Она рассказывает мне все свои сумасшедшие идеи, которые рождаются прямо тут же, за столом — только лови. Например, о том, что у муравьев обязательно должна быть письменность. Или, что ближе к весне снег падает не как обычно, а наоборот, снизу вверх, и так получаются облака. Или...

Спит она совсем мало. Лежит и смотрит на луну или просто... А то вдруг прижмется крепко-крепко, будто боится чего. Тогда я вжимаю ее в себя всю, и сразу – жарко...

И наступает то самое раннее утро.

- Ну, что, глядеть будешь, или как?

И толком не проснувшись, я бегу в мастерскую спасать чудо. И Лами – от самой себя.

- Ну, как тебе? Что ты видишь? Расскажи.
- Смотрит исподлобья, ждет. Ждет и я знаю боится.
- Это дождь. Но не грустно.
- A еще?
- Вот-вот... упадут яблоки.
- Еще?
- Смерть. Кто-то умер, но осталось что-то после. Поэтому грусти нет.
 - Но как?! Как ты смог понять? Все это?
- Наверное... слишком много дождя. А значит, это уже не только дождь еще и слезы. Верно?
 - Да...
- И все равно свет. Потому что остается что-то после. После смерти. Всего-то и надо взять и разделить ее на ноль и получится бесконечность. Это же так просто, правда, Лами?

Она наклоняет голову. Она обнимает меня и затихает. И...

- Ты самый лучший, ты единственный. Ты понимаешь то, чего не понимаю я. Чего не понимает никто. То, что непостижимо.
- Непостижима ты. И понимаю я тебя. А скорее всего, просто люблю.

Все время... Всегда...

Первый дышит, второй прикладывает руку к его груди. Ждет.

Лами...

Аминь.

Однажды утром

Это выглядит просто, как перемены настроения. Я тоже так думал — вначале. А потом стал читать, интересоваться. Потом поговорил со специалистом. Потом... Оказалось, это диагноз. Маниакально-депрессивный синдром, правда, в самой легкой на свете форме. К тому же я — всегда рядом. Всегда.

Именно во время приступов она пишет свои гениальные картины. Хотя сама Лами говорит, что благодаря мне. Может быть. И сразу вслед за этим она становится тихой, земной, почти обычной, почти как все. Потому что ей все равно — что есть, что пить, о чем говорить и что за окном уже неделю идет дождь. Только по ночам она по-прежнему почти не спит и прижимается ко мне гораздо сильнее, чем обычно. Жарко. Но я ведь почти с самого начала знаю — не все потеряно. То есть не потеряно ничего. Как раз наоборот — все только начинается, потому что бесконечность, помноженная на два, — все равно бесконечность.

Моя рука на ее груди – всегда, все время. Я жду и буду ждать столько, сколько нужно. И ее портрет, который я пишу уже так долго, – ждет тоже. Это главное. Времени не существует. Ведь время – это всего лишь смерть, поделённая на ноль. Так просто.

Проза

Но я знаю, что однажды утром...

Она придет и усядется на кровать, и спросит:

- Ну, что, глядеть будешь, или как?

Еще даже не проснувшись, еще не открыв глаза, я пойму, что не успею.

И какая разница, что за окном – пронизанное солнцем утро или дождь – мне все равно. Лами вот она, рядом, капли пота на лбу, тяжелое дыхание, и это ее:

– Ну, что? Глядеть будешь, или...

Там, в мастерской, меня дожидается чудо. Оно поет, пульсирует, распускает лепестки и заходится от смеха. Жизнь, помноженная на два, опрокинутая на холст, пригвожденная кистью, обреченная на вечность. И самое главное – она. Лами. Совсем как живая...

...Сегодня ночью она снова прижмется ко мне. А значит, снова надо будет просыпаться, бежать в мастерскую и спасать.

Картину. Лами. Себя.

Просто я знаю, что когда-нибудь не успею.

И тогда – наконец...

...я закончу ее портрет.

И будут выставки, залы, галереи – без конца.

И люди будут останавливаться, и замирая от восторга, спрашивать вполголоса:

- Кто это? Как она называется?
- «Суламифь портрет моей жены».
- A-a-a-axxx...

Я – вижу

Свежераспустившееся крохотное деревце. Почти саженец. Совершенно человеческое лицо – глаза, нос, губы. Тело – молодой гибкий ствол, ветви-руки, ноги-корни. Они стремятся в разные стороны, тянут ее, почти разрывают на части тонкое тело. Ей должно быть ужасно больно, непереносимо, но...

Сколько ни разглядывайте ее, сколько ни подходите, ни смотрите – вы не поймаете ее взгляд. Никогда.

А смотрит она...

А смотрит она...

Только на меня, на меня одного. И в глазах ее – счастье.

А счастье — это бесконечность, помноженная на два. То же самое, что и смерть, поделённая на ноль.

И все это она – Лами.

- Как, вы говорите, ее звали? Суламифь?

Липа Грузман

БАЙКА «ПРО ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА»

Ура! Ура-ура и еще раз ура! «Лихие девяностые» канули в Лету, потопив в потоках времени то, что называлось развитым социализмом. Развитым – в смысле, что способность доносить на всех, кто рядом живет или работает, была доведена до совершенства. И каждый знал, что все соседи доносят на него.

«Доверяй, но проверяй!» – лозунг, сохранившийся с давних времен. «Социализм – это учет и контроль!» – изрек великий вождь Владимир Ильич Ленин.

Вот всех и контролировали, брали на учёт, держали под колпаком. Нам уже нелегко понять, как удалось добиться того, чтобы каждого принуждали стать доносчиком. Умели играть на людских слабостях: легковерным внушали, что так они помогают государству, любители кляузничать получали материальные поощрения, а уж если за человеком грешок есть — то и вовсе просто было его на крючок зацепить, шантажируя и пугая расправой.

Но вот – власть сменилась, надо было научиться выживать как-то в новых постперестроечных условиях.

А как – мы расскажем на примере одной простой русской семьи. Что отличало ее от других – это многодетность: пятеро по лавкам. Ой-ой и еще раз ой...

* * *

Итак, на окраине старинного русского города Приволжска в небольшом поселке железнодорожников, на улице Болотина, в так называемом частном секторе, жили не тужили мама с сыном, Соловьевы по фамилии. Папы пацан как-то не видал и никогда о нем не спрашивал, будто и так сердцем понимал всё. Палат каменных мамка с сыном не нажили, домишко был у них деревянный, доставшийся в наследство от родителей Нины Михайловны. Места хватало и для нее, и для сына Славика.

Года бегут-торопятся – и превратился Славик, окончив строительный институт, в Вячеслава Николаевича. Работал вначале мастером, потом прорабом – а там и на руководящий пост выдвинули.

А это не только почет, но и напряг немалый. И нервы вымотают, и о нормированном рабочем дне забудь, то и дело — аврал где-то, когда объект надо срочно сдавать «под ключ». Стройка — это вам не на балалайке играть. Нервы, нервы и еще раз нервы. Как говорят работники со стажем, «все соки из меня эта работища высосала!».

Чертыхался порой и Вячеслав Николаич. Но добросовестен был – на изумление, умел и с других спросить, и сам выпахаться. А еще творчески к делу подходил, постоянно придумывал что-то, чтобы работали люди в более-менее нормальных условиях.

Там, в рабочем коллективе, и встретил он девушку по имени Надежда. Приглянулись друг другу — когда время есть, то в кино под ручку, то на лодке кататься, то Нин-Михалнины пироги есть. Полюбили друг друга, понравилась добрая и работящая Надя будущей свекрови. Так что — честным пирком да за свадебку. Шикарный подарок получили: двухкомнатную хрущобку, можно отдельно жить, своё хозяйство вести.

Поначалу всё было просто здорово! Молодые друг на дружку не нарадуются, а мама в своем старом доме проживает, на земельном участке работает – и для здоровья, и заготовки делает на всю зиму. Ох, как ее варенья-соленья пригождались – семьято прибавлялась, ртов больше становилось!

Год за годом хороводом, стали Вячеслав Николаевич и Надежда Сергеевна родителями пятерых детей. Большая редкость в светлые постперестроечные имена! Собрались на семейный совет бабушка, мама и папа, так и сяк прикидывали, наконец решили так.

От государства этого, которое само не знает, где у него голова, а где хвост, жилья не получишь, какие бы законы писаны ни были. Потому лучше старый мамин домишко на слом пустить – а на его месте новый, просторный, благоустроенный поставить. И жить там большой, дружной семьей. Всем хорошо будет, и бабушке подмога на огороде, внуки должны знать, что булки на дереве не растут, и маме с папой спокойней, дети присмотрены, бабушка не одна.

Что скажешь? Хорошее решение, умное! Времена демократические, банки охотно кредиты дают на возведение домов для многодетных семей, почему б их и не взять? И Нина Михайловна, и Вячеслав с Надеждой кредитов набрали – и, долго не откладывая, начали строительство.

Руки у всех золотые, друзья помочь не отказываются – и меньше чем через год на улице Болотина, 71 вырос новый дом, красивый, в три этажа, любо глянуть.

Пластались, конечно, и бабушка, и сын с невесткой страшно, в семь жил – аж осунулись, пыль в морщинки въелась. Но ведь одолели – теперь можно жить да радоваться!

Ха-а, не тут-то было! Как это – не купи двора, а купи соседа. Пока у всех кривые-косые домишки стояли, так и ничего, а тут соседка Раиса Серова укараулила Вячеслава, когда тот после работы к дому подъехал, в сумерках уже, подошла к нему – и говорит:

– Оно, конечно, Соловьев ты мой певчий, хорошо, что ты себе такой дом отгрохал. Однако несправедливо получается: мой дом от прямых солнечных лучей полностью вы загородили. И я на тебя в суд подам, добьюсь, что терем твой порушат. С тебя за моё молчание – семьдесят пять тыщ долларов, иначе смотри-и-и...

И как растворилась в сумерках, чистое привидение. Будто и не было рядом никого, а почудилось.

Можете себе представить как потемнело в глазах у Вячеслава Николаевича: еще и кредиты за дом не погашены, а шантажистка уже тут как тут, да иди знай – последняя ли. Ведьма старая!

В дом вошел он смурной, лицо тёмное, на лбу пот холодный, руки дрожат. Жена так и кинулась к нему:

 Что? Что случилось, Славик? Лица не тебе нет. Сядь-ка вот сюда да всё мне расскажи, не утаивай. Я тебя таким хмурым и несчастным никогда не видела...

А тот только рукой отмахивается, и выражение лица такое горькое, что Надю тоже всю затрясло. Как бы они выбирались из стресса – неведомо, но тут младший сын прибежал в прихожую:

 Папа, папа! Узе плисёл с аботы! Ува-ува-ува! – и в ладошки хлопает, и аж прыгает от радости.

Поднял его папа высоко-высоко, потом к себе прижал – и пошли они с женой да малышом в кухню. Только там разжались сведенные челюсти у Вячеслава – и смог он рассказать жене о недавнем «ведьминском предъявлении» на улице около их дома. Встал извечный русский вопрос: что делать?

Горько, тяжко прошел у родителей вечер. Виду старались не подавать: и уроки проверили у старших, и сказки младшим рассказали. А в голове что у одного, что у другой зловещие слова: «Иначе, смотри: дом твой порушат!» – так и крутятся. Злой человек соседка, и слова у нее злые.

Ночью ни Вячеслав, ни Надежда уснуть нормально так и не смогли. Денег таких у них не водится. Неужто дом, выстроенный, выласканный, кто-то осмелится тронуть? Так до свету и провздыхали оба.

А утром – суетливый подъем: старших детей надо покормить и отправить в школу, мелюзгу отвести в садик. Мало ли какие мысли на уме, дети должны собраться спокойно.

Повел Вячеслав младших детишек в садик – и тут, в светлом утреннем свете, перед самым лицом откуда ни возьмись выныривает из-за штакетника соседка, и ехидно улыбаясь, опять закаркала своё:

– Ну что, хозяин, весь солнечный свет себе захапавший, хорошо ль спал-почивал? И вы, бедные детки, на улице с папкой останетесь жить, коли что...

Дети испуганно жмутся к отцу, а соседка шипит:

 – Готовь, готовь бабло, хозяин, а то я тебе такое устрою – уха-ха-а!!!

Вячеслав на провокацию не ответил, отвернулся, молча прошел с детьми мимо, а им объяснил, что бабушка болеет и обижаться на нее не надо. Никакая она не Баба-Яга, а самая обычная женщина, просто соображает плохо, ничего страшного в этой соседке нет.

От детей правду скрывают, а сами ни есть, ни спать не могут: пропитала желчью их жизнь соседка-людоедка. Хоть бы сообразила: кто в долг, с ипотекой дом строит, у того больших тысяч не водится! Нет же, как встретит, так и «семерит»: «Семьдесят тыщ с вас, богатенькие! Ничо на огороде не растет, солнца нету. Гоните компенсацию!».

А через две недели в почтовом ящике, прикрепленном к свежевыкрашенной калитке в заборе перед домом, Вячеслав Николаевич обнаружил повестку от лейтенанта, участкового уполномоченного, тоже Вячеслава Николаича, с просьбой прийти к нему на прием, в поселковый пикет милиции.

И выложил двойной тёзка перед трудягой-строителем, оказавшимся вроде бы допрашиваемым, для ознакомления — заявление от гражданки Серовой Раисы Евгеньевны, проживающей в соседнем доме под номером 72 по улице Болотина в поселке Железнодорожный.

Эк завернула-то, проклятая баба, наверняка, чтобы милиция пригляделась-прислушалась! Накатала: мол, в соседнем доме, номер 71, проживает некто Соловьев Вячеслав Николаевич, сын известного бандита Кольки-Соловья. А дом такой роскошный отгрохан на воровские общаковые деньги, потому что Колькин сын только для виду на работе числится, а на самом деле он главарь организованной преступной группировки. Дом же построен не для проживания, а как блат-хата для городских преступников, которые к нему часто наезжают, ночами по улице шастают, а ее, беззащитную слабую женщину, грозят сжечь вместе с убогим ее домишком. Никакого укорота на пахана Славку сыскать не можно, а потому просит Раиса Евгеньевна, чтобы этого бандитского главаря отправили на долгие годы в тюрьму.

Снял фуражку лейтенант Вячеслав Николаевич, отер пот со лба и честно сказал строителю Вячеславу Николаевичу:

– Если сможешь, как-то помирись с этой, заявительницей. Сама она никто и звать ее никак, я эту стерву занудливую хорошо знаю. А вот двоюродный брат у нее – в городе, он очень успешный адвокат, со многими судьями и прокурорами на короткой ноге. Конечно, не за спасибо, но признают его... Я-то, сам понимаешь, эту писанину в стол положу, пусть пылится, и ничего против тебя делать не стану.

Но если баба взъелась не на шутку, обратится к своему братцу двоюродному. А тот любому проплатить может, чтобы решение было принято такое, какое ему выгодно. Мы себе время жизни не выбираем, вот и занесло нас в такие годочки, когда у кого блат – тот ни в чём не виноват, а не дал откат – будешь виноват.

Опять же, это сколько по судам ходить, рабочие дни пропускать, нервы свои враспыл пускать! Этот адвокат – ух, и пройдоха же! Подумай, постарайся миром дело уладить, от души советую!

Ох, и смурным вышел от участкового Вячеслав Николаич! Идет – и жжет ему душу вопрос: «Да как же это так? Да что ж это за жизнь такая, что правды не сыскать? И ведь даже будь деньги – кто даст гарантию, что еще кто-то за мздой не явится? Бумаги выправили все, как положено, никто не сказал, что у соседки надо право на солнышко испрашивать. Что, что делать-то?»

А домой пришел, там уже дети со своими вопросами ждут: этому ответь, этому помоги, тому объясни, у каждого свои на папу планы. Жена как увидела его лицо, сама пасмурной стала, всё из рук у нее валится...

Опять ночью ворочаются и думают. К утру жена пришла к решению.

– Славик, делать нечего, поговори с соседкой: пусть запросы снизит вдвое, мы еще одну ссуду возьмем, выплатим потихоньку как-то, а она нам пусть подпишет документ, что претензий не имеет. Кто его знает, может, и правда надо было к ней с проектом зайти, мы ведь всех законов не знаем... А что дом по всем нормам, с соблюдением правил построен и не мешает ей вовсе – так это мы видим, а в суде могут и не признать. Поговори с ней, ведьмой, и избавимся от наваждения этого!

Как-то спокойней на душе стало у Вячеслава: опять они с женой одну думу думали, к одному решению пришли. Встали, собрали деток в школу и садик: вперед-вперед, веселая команда! Малых папа взял за ручки – и вперед, в детский сад.

Ну, то, что они соседку тотчас встретили, даже и гадать не надо, подкарауливала она их в переулочке, прытко оттуда выскочила. Остановился Вячеслав, а дети его за руки тянут, останавливаться возле злой бабки не хотят... Малые дети сердцем недобрых людей чуют. Но папа сказал подождать — остановились, смотрят, слушаются. Папа, их папа чего-то этой ведьме отдать хочет!

А папа говорит:

– Раиса, столько, сколько ты просила, нет у нас и не набрать нам. Решили мы с Надеждой еще одну ссуду взять и тебе тридцать пять тысяч долларов уплатить за то, чтобы ты задним числом на проекте подпись поставила: мол, ничего против строительства нашего дома не имеешь. Идёт?

Проза

- Ах, Славочка, дак ведь жалостлива я, при виде твоих деток малых не могу не согласиться! Только – сам понимаешь: на проекте я подпись чин-чинарем поставлю, а на тридцать пять тыщ американских рублей никакой бумаги тебе давать не буду, я себе не враг!
- И как тогда быть? Мы-то планировали бумагу оформить будто деньги у тебя занимали и должок возвращаем. А так, без подписи, ты опять через полгода придешь деньги требовать! Неет, так дело не делается. Не хочешь честь по чести значит, ничего не получишь.

Дети тянут папу от злой тетки. Они, даже плакать начали, Вячеслав Николаич за ними, а стервозная соседка за ними идет и припевает:

– Ну смотрите-смотрииииите! Не хотите по-моему, останетесь на уууулице! Или пять лет по судам таскаться будете – и ничего не вытаскаете. Где хотите, там и берите деньги. Я-то тебя пожалела ради деточек, а ты вооооон как? Понаделал орду спиногрызов – так, думаешь, и все права у тебя. Не-е-е-ет, я тоже новый дом хочу!

Успокоил он детишек, в садик отвел, а сам на работу, в контору (тогда еще офисом ее не называли). А там сотрудники, друзья спрашивают, что случилось, бледный весь пришел, лица на начальнике нет. И решил он с ними посоветоваться: рассказал о том, что вымогает у него деньгу соседка. Сопереживают, сочувствуют — а дельный совет дать не могут, каждый свое решение предлагает, и ни одного верного. Ведь такое творится: запросто могут признать стройку незаконной!

Жизнь идет, катится, а в многодетной семье покоя нет: районный прокурор вынес-таки постановление о незаконном строительстве. Ни слова о том, что участок не купленный и не отчужденный, а принадлежащий бабушке, Нине Михайловне, ни о том, что она дала доверенность родному сыну строить дом, ни про то, что в семье пятеро детей и семья в тяжелом положении, не было сказано. Что скажешь: не просто подлецы, а высококвалифицированные!

Но и глава семьи, который уже успел посоветоваться, получить консультации и, главное, моральную поддержку от тертого жизнью знающего человека, не лыком шит оказался: подал в суд заявление о признании дома, построенного согласно всем ГОСТам и нормам, а также, что дом его собственность, поскольку вся финансовая документация в порядке, и проживает в доме большая семья: бабушка, мать с отцом да пятеро несовершеннолетних детишек, а государство многодетные семьи поддерживает в первую очередь.

Потянулись томительные дни ожидания судебного заседания. А соседка прямо захлебывается от восторга, зубы гнилые скалит, с мерзкой улыбочкой шипит:

– Ну, говорила я вам... Допрыгались, миллионеры проклятые? Опять в хрущобку со своей оравой свалите. А то, ишь, расплодилися! Де-е-енег у них нет. А моё какое дело? Из-за вашего домищи солнце ко мне на участок не заходит! Ой, заплатили бы лучше, а то адвокат-то у меня свой, родственной!

Всегда молча мимо проходил Вячеслав Николаевич, а тут остановился и выпалил:

– Да что это ты нам устраиваешь? Как не стыдно за свои черные дела-то тебе? Кто ты вообще? При советской власти партбилет в нагрудном кармане носила, в состав парткома депо входила, а теперь платочком повязалась, в церковь ходишь, вместо партбилета крест на груди у тебя... Что ты за человек? Какая жаба твою душу травит? И при чем тут наша семья, нормальная, трезвая, работящая? Родственник влиятельный, говоришь? А чего ж он родне, такой богатый и знаменитый, на новый дом денежку не дал? Может, не так уж он тебя любит – и в нужный момент отступится? Такое тебе в голову не приходило? Грех ты на душу берешь! Не по-людски, не по-христиански это – завидовать, деньги вымогать, у малых детей изо рта кусок тащить! Бога побойся!

Всё как есть обсказал, развернулся и домой пошел. А соседка на всю улицу вопит:

– А не твое это дело, что я в церкву хожу и крест ношу, сейчас такое дозволено! Ой-ой, стыдить он меня надумал! А я всё одно своё право отстою: либо откупишься, либо дом твой снесут к чёртовой матери!!

А тем временем шла обычная российская канитель в районном суде: о рассмотрении «дела по установлению законности возведения дома № 71 по улице Болотина в связи с поданной жалобой и на основании предыдущего решения...»

И вдруг случилось непредвиденное. Проезжая на велосипеде во главе каравана из троих старших детей, которые тоже крутили педали, Надежда не успела затормозить перед соседкой Раисой, которая выскочила из калитки своего дома, опять желая покаркать на многодетную мать.

И-и-и — началось. Конечно, травм на теле соседки не было: даже с ног ее Надежда не сшибла, та за дерево ухватилась и стояла себе. Но она стала симулировать, бегать по больницам, жаловаться на разные боли и болезни... Какой-то врач с ее слов и записал, что «Раиса Ивановна Серова в результате столкновения с управляющей велосипедом Соловьевой Н.С. получила травму левого плеча».

Ух, радости-то соседкиной сколько! Справочку тут же прикрепили к новому заявлению пройдошливого адвоката, и материалы нового «уголовного дела» легли на стол всё к тому же двойному тезке Вячеслава Соловьева – лейтенанту Вячеславу Николаевичу, участковому уполномоченному.

И снова пришлось ему вызывать Соловьева с женой в пикет, где честно и откровенно он сказал:

– Дорогие вы мои! Не надо мне рассказывать, что ни в чём не виноваты, я это и сам понимаю Я такой же честный и порядочный человек, как вы оба. Конечно же, никакого хода этой заяве я не дам и дела заводить не буду. Справку и заявление я надлежащим порядком верну Серовой. Но должен буду соблюсти формальность: написать в резолюции, чтобы она обратилась в суд в частном порядке. Все знают, что из ничего раздуто дело, а прищучить скандальную шантажистку я своими силами никак не могу. Придется снова от нее в суде отбиваться.

...Как участковый говорил, так и вышло: Серова подала в суд, написав в заявлении, что Надежда Сергеевна не просто допустила небрежность, а с умыслом на нее наехала, чтобы нанести ей телесные повреждения, то есть ушибы.

Чем дальше, тем больше наглели вымогатели. Подкараулил возвращавшегося с работы Вячеслава Николаевича один из родственников соседки Серовой – и, как бы невзначай, проходя мимо, процедил сквозь зубы:

– С тебя, мужик, причитаются еще четыреста тыщ рублей, то есть чуть более десяти килобаксов мне. Тогда это дело в суде рассматриваться не будет. А не дашь деньгу – присудят твоей жене условное наказание и штраф. В течение условного строка мы ей еще одну судимость обустроим. Никто считать, сколько сопляков у вас по лавкам ошивается, не станет. Так что готовься бабе своей сухарики на зону таскать!

Вячеслав Николаевич прошел мимо шантажиста, сжав челюсти, даже виду не подал, что его поганые речи услышал. А на душе-то камень: как развернут дело, как накажут любимую его Наденьку ни за что! Всё ведь зависит от того, как повернет дело судья. А все только и говорят да пишут, что «наш, самый гуманный и справедливый суд в мире» остался только в старой кинокомедии.

Так что вновь пришлось идти в суд, выслушивать неправедные вопросы судьи, краснеть от явной лжи нанятого «истицей» адвоката, томительно ждать оглашения приговора, заранее зная, что он будет несправедливым... Судья, его читая, сам краснел и нервно почёсывался — видно, совесть где-то в уголку еще сидела, не превратился человек в законченного негодяя.

Ох, как старались замарать честную женщину! А вышло всё просто смешно: через два дня после вынесения приговора Президент России объявил амнистию всем, кто совершил мелкие противоправные деяния. Всё, нет на Надежде никакого клейма! Они-то так старались: по врачам справки собирали, бумаги писали, судебное заседание вели, а вышел пшик! Осталась ни с чем кляузница-соседка Раиска Серова.

Вскоре и еще один судебный процесс прошел, где было признано: дом № 71 по улице Болотина, поселок Железнодорожный, есть законная собственность семьи Соловьевых, у которых на иждивении пятеро детей. Но сам дом признали построенным с грубыми нарушениями градостроительных норм и правил, что соответствовало его сносу.

И опять то же самое – вытирает пот со лба судья, все понимает, а сделать с силой темною ничего не может. Она ведь слуга закона.

Ничего больше не оставалось семье Соловьевых, как по решению «самого гуманого суда в мире» своими руками порушить свой дом, остаться на улице со всей оравой. Допустить этого, конечно государство не могло, чтобы детишки остались на улице, и решило опекать детишек, то есть забрать их у родителей в детский дом.

Не дом должны были порушить Соловьевы, а род свой, под корень пустить, ублажить этим ведьму старую – по решению нечестного судьи...

Но Бог милостив! Повезло Вячеславу Николаевичу, приметил его и помог ему человек, олигарх чувашский, Ермолин Владимир Николаевич, дал ему денег на откуп, сам бывал в таких ситуациях.

Откупились Соловьевы, не нарадуются. Долги большие, да жизнь впереди...

Как Раису Ивановну удар не хватил – трудно и сказать. Старалась, трудилась, кляузничала – а вышел пшик, только деньги на подкуп того-этого зря потратила. Сто раз локотки покусала себе, что мирно с соседями не договорилась, а решила их гнобить до конца. Жадность фраера сгубила, так сказал за праздничным столом друг Вячеслава, начальник участка Лёша Чередников.

Ну, вот тут и точку, вроде б, ставить надо: добро победило, зло повержено...

Но ведь издерганных нервов Вячеславу, Надежде и Нине Михайловне никто не вернет! Тёмного осадка с их души никто не снимет! Соседка, конечно, притихла, но как увидят, что она на них через забор смотрит с гадючьей злостью своей, так и начинают опасаться: как бы эта паскудная бабёшка чего новогомерзкого не затеяла.

Проза

Общество перестроилось: кумовство, ложь, интриги да взятки – остались. Хорошо, что иногда бывают просветы. Но это – уж кому как повезет.

Ура, ура и еще раз ура!!! В новой России нужно жить по старому, то есть: «Хочешь жить, умей вертеться...»

Марина Ариэла Меламед

Из Хеломской книги. Еврейские народные сказания. вольный перевод с идиша

СКАЗАНИЕ О ХЕЛОМСКОЙ СЕЛЁДКЕ

Построили в Хеломе мельницу, а она не мелет – стоит на вершине горы, подальше от речки, врагам на зависть, миру на удивление. Но не работает. Видимо, ей не подходит хеломский климат. Продавать жалко – привыкли любоваться, хорошая вещь...

Из-за этой красоты стал питаться Хелом одной картошкой. В понедельник ели картошку, во вторник картошку, и в среду опять картошку. Четверг и пятница в этом смысле ничем не отличались от понедельника и вторника. И только в субботу делали из картошки кугл...

Короче говоря, Хелом ел картошку и мечтал об одном – о небольшом ломтике селёдки. Кстати, хеломцы готовят селёдку совсем не так, как все другие люди.

Прежде всего, обмывают селёдку хорошенько. Затем зовут жену, чтобы та промыла селёдку в горячей воде. Затем с вымытой селёдки счищают кожу. Снова промывают. И только потом, помолясь, вымытую и почищенную селёдку острым ножом разрезают на узенькие кусочки.

Затем хеломская хозяйка искусно выкладывает все эти кусочки таким образом, чтобы они касались друг друга, и селёдка выглядела бы абсолютно нетронутой, девственной, почти в первозданном виде.

Теперь, когда селёдка лежит вот так, чистейшая и невинная, словно невеста перед хупой, приходит очередь старшего сына: уложить большую луковицу, нарезанную тончайшими ломтиками, по самому краю блюда. Уложив луковицу, берут перечницу и посыпают селёдку перцем. В довершение всего, поверх лука и перца, селёдку поливают немалой толикой уксуса.

И только после того, когда она хорошенько вымочится в уксусе, принимаются за трапезу. Обычно хеломцы едят селёдку с черным хлебом. Омыв руки, берут аккуратно и бережно первый кусочек, благословляют, смакуют и говорят друг другу, что на том свете, в раю, даёт Господь каждому доброму человеку три раза в день селёдочку с черным хлебом...

* * *

Гилель, самый умный в Хеломе, прекрасно понимал, до какой степени хеломские евреи любят селёдку. Да что, разве он сам не тоскует о кусочке селёдочки?

И вот, сидят как-то хеломцы, вспоминая старое доброе время, когда копейка водилась в кармане и каждый мог есть селёдку с луком, посыпанную перцем и вымоченную в уксусе, когда только хотел...

Слушает все это самый умный в городе Гилель и думает: ах, если бы я мог дать людям селёдку во все их дни... В этот момент в его голове блеснула идея, ослепительная, как солнце в полдень. Возрадовался Гилель и закричал:

- Слушайте, евреи города Хелом! У меня есть план! Мы сможем есть сколько угодно бесплатной селёдки, каждый, в любое время!
 - Как такое может быть? спросили хеломцы.
 - И Гилель объяснил:
- Мы купим пять вёдер красной селёдки и пять вёдер белой селёдки. Докупим десять мешков засушенной рыбы, которую люди называют таранкой. Включая воблу. И ещё пятнадцать мешков копченой рыбы. Всю эту рыбу надо будет запустить в хеломскую речку. Рыба будет плодиться и размножаться. Через год получаем молодняк и можем брать из реки столько селёдки, сколько выловим! Они будут и дальше давать потомство, а у нас будет бесплатная селёдка на все времена!
 - Хороший план... задумчиво согласились хеломцы.
 - Отлично! подытожил Гилель.
- Да, хорошо, молвили хеломцы. Но нужны деньги, чтобы закупить всю эту солёную рыбу, а денег нет.
- Деньги, шменьги... пожал плечами Гилель. Или мы не огородники? Всё очень просто. Нужно заложить наши огороды и купить солёную рыбу и будет нам хорошо!

Хеломские хозяева заложили свои огороды, на эти деньги купили всего понемножку – ведро белой селёдки, ведро красной, засушенную таранку, копчёную рыбу. Включая воблу. Тёмной ночью Гилель выпустил всю эту солёную рыбу в хеломскую речку. И вот, ровно через год, день в день, приходят хеломцы на берег речки, а рыбаки тащат рыболовные снасти.

Весь Хелом выбежал поглазеть на диво дивное: с той поры, как появился город, никому ещё не удавалось вытащить из хеломской речки хоть одну рыбёшку.

Рыбаки забросили невод и стали ждать. Все хеломцы застыли в ожидании чуда. Вытащили рыбаки невод – пришёл невод с травою речною... Несколько водорослей, немного грязи – и всё.

Забросили рыбаки невод ещё раз. И ещё, и ещё. Раз за разом забрасывали рыбаки сети, – и ничего. Больше, чем ничего – совсем ничего!

Пара полусгнивших палок, порванный сапог, а рыбы не было и в помине. Стоит Гилель, умнейший человек из Хелома, и возмущённо командует:

 Забросить сети в воду! Ещё раз! Ещё! Здесь должна быть селёдка!!

Рыбаки слушаются, они работают целый день, они обливаются потом – и хоть бы одна крошечная рыбёшка, чисто символически!

И увидел Гилель, что всё плохо. И вскричал пронзительным голосом:

- Гвалт, евреи! То есть, караул!! Нас обокрали!!!

И закричали все хозяева:

– Караул!! Нас обокрали!

Прибежал хеломский раввин, стал спрашивать в страхе:

- Кто нас обокрал и что украли?

Рассказал Гилель всю историю и заключил так:

– Это хеломские женщины вызнали нашу тайну и не смогли удержаться до конца года! Они украли нашу белую рыбу, нашу красную рыбу, нашу таранку и копчёную рыбу! Включая воблу.

Тогда поклялись женщины Хелома перед обществом, что они понятия не имеют, о чём идёт речь. И сказал раввин:

Раз дочери еврейского народа клянутся, то им нужно верить.

Тут Гилель сделал единственно верный вывод:

Поскольку нас не обокрали, селёдка должна быть в реке.
 Пускай рыбаки ещё раз забросят невод.

Забросили рыбаки невод ещё раз. И на этот раз им посчастливилось: они вытащили огромного красного рака с острыми рогами. Возможно, на самом деле это были клешни. Или, всётаки, рога. Источник утверждает — «рога», а кто мы такие, чтобы с ним спорить? Здесь прежде никто не видел рака.

Рыбаки выбросили рака на прибрежный песок. Хеломский ребе осмотрел его внимательно и объявил:

– Вот ваш единственный вор! Вы напрасно обвиняли невинных людей. Посмотрите: он нечист. Он красен и облит грязью. Как мы можем видеть – он тучен, потому что объелся красной селёдкой, и белой селёдкой, и сушёной таранкой, и копченой рыбой. Не говоря уже о вобле.

Хеломе взорвался от возмущения.

- Порвать его немедленно! требовали горячие головы.
- Порвать рака нельзя, спокойно произнёс ребе. Дело в том, что на идише говорят «порвать как селёдку», но никогда не говорят «порвать как рака».

Проза

- Тогда давайте мы его порубим на куски! предложил Хелом.
- Нет, так тоже не годится. Ребе покачал головой Рубят лук, рубят куриную печёнку, редьку и даже гусиный жир. А рака не рубят. Так у нас не принято.
 - А если его зажарить?
- Исключено, ответил ребе. По законам кашрута. Где вы видели евреев, которые жарят рака?! Мы жарим утку, гуся, рыбу, но никогда не жарим рака.
- Что же тогда с ним делать? недоумевали хеломские хозяева. Порвать нельзя, рубить нет, жарить исключено. Как же его наказать? А наказать надо обязательно он же вор!
- Ша, тихо! Я приготовил для него соответствующее наказание.
 - Что это за наказание? воскликнули все в полный голос.
 - Утопить рака! веско произнёс раввин, как припечатал.
- Справедливый приговор для пожирателя селедки! Будет знать, как нарушать! – радостно зашумели хеломцы. – Утопить селёдочного вора!

Гилель, самый умный из Хелома, схватил рака и швырнул его прямо в середину реки.

Так Хелом отомстил нечистому раку, похитителю селёдки.

ЖЕРНОВА ОТ МЕЛЬНИЦЫ, ИЛИ ДЫРКА ОТ БУБЛИКА

Итак, Хелом нищает. Ни молока, ни мяса, ни жира, ни масла, ни кусочка селедочки. Картошки – и той нет! Есть то, что есть. То есть, почти ничего нет. Жалко Хелом, мельницу, селёдку, огороды, кошек, собак, голубей, речку, гору, жалко переводчика, редактора и читателей... Буквы – и те жалко!

Итак, все отвратительно. Огороды заложены, мельница не мелет. люди голодные, мечтают о жареной картошке. Или вареной. Можно в мундирах... О яичнице вообще никто не говорит...

Не поют в Хеломе, только сверчки распеваются «цвиркцвирк-цвирк»... Пустой хлеб с ничем, «цвирк-цвирк-цвирк»... И таранку из речки утащили – «цвирк-цвирк».

Сидят хеломцы молчаливые и голодные. Смотрит на них Гилель и думает: город надо спасать. И в голову к нему приходит очередной план! Но как расскажешь о нём голодным людям? Могут не услышать, не понять...

Гилель опускается на пол, начинает ползать на четвереньках, искать неизвестно что. Смотрят хеломцы, удивляются:

- Что с тобою, мудрый человек, что ты там ищешь?
- Увидел я, что вы носы повесили и потеряли радость, а только что была она где-то здесь...

Рассмеялся Хелом и сказал:

Давай вместе поищем, а вдруг найдётся...

Увидел Гилель, что люди взбодрились, и стал рассказывать. Итак, мельница не мелет, а продавать жалко. Но! Можно продать мельничные жернова. Заработать много денег, выкупить огороды, вздохнуть с облегчением!

- Прекрасно! обрадовались хеломцы. А как?
- Всё очень просто! Нужно свинтить жернова и пустить их катиться вниз с горы мельница же стоит на горе. Как скатятся вниз, в речку, так сделаем плот, затащим их на плот и увезём на продажу. И сделаем на этом хорошие деньги!

Сказано – сделано. Двадцать взрослых и сорок мальчишек работали не покладая рук – пилили, стучали, откручивали, свинчивали и вынимали гвозди. А Гилель командовал:

- Осторожнее! Все в сторону! Ещё немного! И!!!

И жернов покатился вниз с горы. Прямо в местечко, из местечка в долину, а оттуда в речку, в глубокую воду... Был жернов – и нету. Утонул жернов.

Стоит Хелом в растерянности. Но Гилель не падает духом.

- Да, всё пропало, говорит он, но не стоит отчаиваться! У нас есть ещё один жернов, а у меня – ещё один прекрасный план...
- Всё просто, продолжил он, –. У жернова в середине имеется большая дыра. В эту дыру нужно засунуть голову лучше всего, если это сделает синагогальный служка, шамес. Служить его профессия. И покатится жернов вниз. А когда жернов окажется в реке, то шамес высунет из него голову и выплывет, он же умеет плавать. Тогда он и покажет нам, где именно упал жернов. А мы сможем достать жернов из реки.
 - Блестящий план! обрадовались хеломцы.

Что вам сказать... Приказали служке засунуть голову в дыру посреди жернова — он и засунул. Покатился жернов с горы вниз, прямо в местечко, из местечка в долину, из долины в речку, в воду, в самую глубину.

Осталось дождаться служку... Он же умеет плавать. Ждали его час, ждали второй, потом день, и другой... До сих пор ждут. Хотелось бы предположить, что он выплыл неизвестно где и теперь ходит в другую синагогу, забыв про Хелом. Но трудно погрешить против правды – Хелом забыть нельзя. Так что, помнит он про Хелом и мечтает вернуться.

После этой оптимистической истории уже можно было бы не продолжать рассказ: хуже не может быть. Ой, можно подумать! Всё вполне ещё может быть хуже. Ну, или лучше – с какой стороны посмотреть...

Так что, мы продолжаем...

ХЕЛОМ ДОСТАЁТ ЛУНУ С НЕБА

Итак, всё плохо, и скоро будет ещё хуже, чтоб не сглазить. Огороды заложены, кусочка селёдки не найти, не говоря уже о таранке. Пустой суп с ничем. Мельница осталась без жерновов, Хелом остался без синагогального служки — шамеса.

Город сидит голодный. Дети опухли от голода, жены высохли, как щепки. Мужчины питаются духовной пищей, но тоже выглядят не очень.

В светлую ночь евреи выходят под открытое небо, обращают лица к молодому месяцу и читают молитву, и радуются из последних сил....

Гилель тоже читает молитву и понимает, что город надо спасать, что виноват он, Гилель...

Раскачивается он набожно, глядя на луну, и вдруг застывает на месте. Новая идея стучится в его голову! План так прекрасен, что дух захватывает! Гилель дрожит от радости и восклицает горячо:

- Слушайте все! Мы спасены! Я знаю, что нужно делать!

Хеломцы остаются стоять с последними словами молитвы на кончике языка. И Гилель с воодушевлением продолжает:

- Я хочу достать для вас луну с неба!
- Достать с неба луну? спрашивает Хелом удивлённо.
- Именно! отвечает уверенно Гилель. Мы достанем с неба луну, хорошо её упакуем и спрячем в старой синагоге. А потом луна же нужна всем будем продавать её по кусочкам. Да мы озолотимся!!!
- Вот это да... выдохнули хеломцы с облегчением, мы действительно спасены!
- Ещё одна замечательная вещь каждому еврею ведь нужно освятить луну раз в месяц. Куда он пойдёт? К нам! Со всех концов Земли придут и будут просить продать им кусочек луны! Да нам золото будет некуда девать!
- Да, это будет счастье! радовались хеломцы. Мы будем ходить в золоте! И обязательно нужно будет давать беднякам по кусочку луны бесплатно! добавили великодушно будущие богачи.
- Подождите! вспыхнул Гилель. Мой план ещё не готов окончательно. Нужно достать луну, затем вымыть ей голову, выстирать и вычистить. Убрать с неё пятна. Она у нас будет сверкать, как игрушечка! Тогда мы сдадим её в аренду жителям больших городов. Вы же знаете, как они любят яркое освещение на своих улицах, вечером зажигают все лампы и фонари. Теперь, вместо электричества, они будут пользоваться нашей чистейшей и блестящей луной! Да они нас озолотят!
 - Мы спасены! выдохнули хеломцы.

Мельник, которому Хелом когда-то отказался продать мельницу, как раз зашёл в местечко. Он прослышал, что хеломцы пухнут от голода, и решил, что теперь-то они возьмут голову в руки. Но когда он услыхал новый план, у него потемнело в глазах. Спросил мельник:

- Скажите мне, уважаемый Гилель, каким образом вы собираетесь достать луну с неба?
- А что, у вас имеется собственный план? насмешливо поинтересовался Гилель.
- У меня безусловно, есть план, отозвался мельник, смеясь. Нужно собрать все лестницы Хелома и связать их вместе. Затем сделать изо всех этих лестниц одну, самую большую и длинную лестницу в мире, и прислонить её к синагоге. Новый служка поднимется по ней в небо, достанет луну и спустит её с небес...

Гилель все это выслушал и ответил серьёзно:

– План неплохой. Но тут есть опасность, что служка упадёт с большой высоты, сломает себе шею, и мы снова останемся без служки. Так что мы поступим иначе. Завтра вечером на хеломском рынке я покажу, что я придумал.

Мельник пожал плечами: кто докопается до глубочайшего моря мудрости Хелома? Он остался посмотреть, что же будет.

* * *

Назавтра вечером рынок был переполнен людьми. Светила луна. Ей тоже было интересно. Весь город собрался и ждал Гилеля. Мельник подошёл посмотреть.

И вот появился Гилель, за ним два хеломца тащили бочонок с красным борщом. За бочонком шли ещё двое с мешком, верёвкой и печатью.

Гилель остановился и распорядился:

– Выставить бочку с борщом в центре рынка.

Поставили. Гилель возвысил голос:

– Хеломккие евреи, гляньте и увидьте! Луна светит высоко в тёмно-синем небе. Теперь посмотрите вниз – и вы увидите, что в бочке борща на самом дне плавает такая же луна!

Вначале подошли двенадцать хозяев вместе с раввином к бочке с борщом и заглянули внутрь.

- Да, покивали они, все так и есть. Такая же луна, как в небе, плавает в бочке с борщом.
 - Давайте сюда мешок, верёвки и печать. скомандовал Гилель.
 Принесли требуемое.

Гилель быстро накрыл бочонок мешком, туго завязал мешок верёвкой на десять узлов, а потом ещё в один большой узел, и запечатал его, как почтовую посылку.

- Теперь, объявил Гилель, опечатанный бочонок будет стоять в вестибюле старой синагоги, пока не придут тёмные ночи и на небесах не будет видно луны. Вот тогда мы станем аристократами! Евреи Хелома, вы понимаете, что мы достали луну?
 - Мы понимаем, дружно ответил Хелом.

Мельник погладил свою бороду и улыбнулся:

– Мне кажется, я таки куплю мельницу. Только больной и немой не купит теперь мельницу у этого цудрейтера Гилеля.

Мы, конечно, могли бы перевести слово «цудрейтер» - почему бы и нет? Слово означает «путанный», «тронутый» и «чокнутый». Но мы не будем переводить его, ибо целиком и полностью присоединяемся к постороннему мельнику, назвавшего самого умного в Хеломе Гилеля цудрейтером. Нам самим давно хотелось его так назвать...

Прошло две недели. В конце месяца темной ночью сказал Гилель горожанам: пришло время достать луну.

Раввин и двенадцать лучших хозяев Хелома достали бочонок из вестибюля и вытащили его из синагоги. Гилель, двенадцать хозяев вместе с раввином осмотрели сокровище. Все верёвки и узлы были на месте.

На тёмном рынке собрался весь Хелом. Каждый хотел увидеть, как достанут луну из бочонка, вымоют ей голову, отстирают и очистят ее от пятен и как после этого подвесят на небо.

Стали разбивать бочонок с луной. Гилель острым ножом разрезал верёвку. Узлы и печати упали. Гилель снял мешок с бочонка и закричал:

- Да будет свет! Да будет свет!

У всех на радостях отвисла челюсть, но рынок остался тёмным.

Гилель подумал, что луна зацепилась за гвоздик, и вывалил бочонок с красным борщом до дна, но рынок остался тёмным. Луны нет как нет.

Шум и галдёж, проще говоря – гвалт. Это и есть галдёж: где луна?

Позволим себе отступление. Может создастся впечатление, что хеломцы – просто мешигинес, сумасшедшие. Но это вовсе не так. Сейчас – это одно, а было-то другое. Вы помните, как начинается вся эта история про хеломских мудрецов?

А начинается все с волшебной сказки. Герои повествования сваливаются прямо с неба и вдруг оказываются в Хеломе – с детьми и жёнами, божественными книгами в голове, включая

все тома комментариев. И беседуют они о мудрых вещах, не помышляя поначалу о жилье, и всё у них есть. И речка под боком. Не жизнь, а сказка! То есть сказка была волшебная, как у людей.

Но затем история становится такой жизненной — хоть плачь. От сказки остаются только герои со своими волшебными ожиданиями о том, что таранка может плодиться и размножаться, что водяной мельнице ни к чему речка, а луну можно легко достать с неба. Как в истории с Мэри Поппинс. Но нет...

И вот герои прочно увязли в самой, что ни на есть, реальности. Точно, как самые настоящие евреи на Земле... И все они по-прежнему ожидают чуда.

И вот чудо происходит – они по-прежнему живы, невзирая ни на что. Впрочем, такое же чудо мы наблюдаем последние две тысячи лет...

Итак, отвечает раввин, здраво и рассудительно:

- Что вы так шумите? Луны нет, потому что её выкрали воры!
- Этого быть не может, послышался голос, мешок был целый и все узлы были на месте! Верёвки были связаны и печать не нарушена! Каким образом воры смогли бы забрать луну?
- Ворам для работы противопоказаны светлые лунные ночи,
 заметил раввин,
 они могли лишиться куска хлеба. Для работы им нужна темнота.

Раввин задушевно вел свою речь, но Хелом раскипятился.

- Эти ваши майсы про луну вы можете выбросить в реку! заявил один.
- Всё хорошо объясняется, но хлеба по-прежнему нет и вообще ничего нет! выкрикнул ещё один.
- Чужой мельник пока ещё здесь! выкрикнул следующий, и Хелом взорвался криками:
 - Мельник тут!
 - Продадим ему мельницу!

Гилель и раввин отвечали взвешенно и разумно, стараясь подавить народный бунт:

 – Фу, евреи, что за гвалт (в смысле – шум)! Идите по домам, дождёмся утра, и завтра соберём общее собрание...

Но Хелом не разошёлся по домам, хотя – разошёлся основательно, и крики стали мощнее и громче:

- Хлеба!! Мы хотим хлеба!!!
- Мы хотим обратно наши огороды!!
- Мы больше не можем ждать!!!

Взлетел камень и чуть не разможжил Гилелю голову. Сказка на глазах становилась реальностью.

Хлебный бунт ещё никогда и никого до добра не доводил. Гилель мог остаться без головы, и ни разу больше его бы не осенил какой-нибудь замечательный план...

Проза

– Ша, евреи, – успокоил всех раввин, – пускай будет, как вы хотите! Не хотите ещё подождать – не будем. Позовите сюда мельника, и пускай он принесёт золото для оплаты.

Мельника не пришлось упрашивать, он подошёл к раввину и заплатил таки червонцами соответствующую сумму, и свершилось – наступал конец прекрасной эпохи.

Хелом продал свою сказочную водяную мельницу. На этом закончились сказки про то, как выжить, когда всё плохо. И начались легенды о том, как выжить, когда всё более-менее...

Ольга Фикс

СВИДАНИЕ

Отрывок из фантастического романа «Полдень 22»

До города N Саша Ерофеев добрался без приключений. Он хорошо усвоил премудрость, наспех преподанную по дороге Сергеем: «Чуть чего, делай рожу кирпичом».

С непроницаемым лицом Ерофеев шел в толпе незнакомых людей с такими же точно непроницаемыми лицами, и никто не обращал на него внимания. Он вошел в вагон и сел у окна. Поезд шел долго, со всеми остановками. На остановках люди входили и выходили, знакомились друг с другом или, как Ерофеев, спешили приткнуться где-нибудь в уголке, и продремать до конца поездки.

Ерофееву проспать всю дорогу не светило, ехать было больше суток, а он все-таки не медведь. К тому же он нервничал и на остановках часто выскакивал покурить.

Судя по надписям на перронах, поезд оставлял за собой одну область за другой. Но Ерофееву почему-то казалось, что они никуда не двигаются, и он, как рассеянный герой детской книжки, случайно сел в вагон, отцепленный от состава.

Одни и те же насыпи без конца тянулись за окном, посыпаемые мокрым снегом, который, еще не долетев до земли, превращался в липкую грязь.

Перроны, где курил Ерофеев, отличались друг от друга лишь названиями да высотой вокзалов. На маленьких станциях вокзалы были одноэтажные, а в райцентре или областном городе вокзал мог быть двух-, а то даже и трехэтажным. Но складские и служебные помещения везде были одинаковыми.

Наконец по громкой связи объявили: «Следующая станция город N». Ерофеев вскочил, вскинул на ходу сумку и, не застегнувшись, рванулся к выходу.

Неужели он вот-вот увидит маму?!

- Куда спешишь-то? Встречает кто? Ишь ты, как раскраснелся!
 добродушно заметил старик, об чей мешок Ерофеев споткнулся и едва не упал.
 - Простите? Ерофеев сделал каменное лицо.
- Красный весь, говорю. Запарился. Куртку-то застегни, а то на улице холодно, простынешь, пояснил старик, по-прежнему добродушно, но уже без энтузиазма.

Ерофеев кивнул и вышел.

Автобус, ещё автобус. И вот забор. За забором дом. В доме мама. Ерофеев уверенно протопал мимо будки охранника с надписью «Предъявляйте пропуск в развернутом виде».

Люсь, а это кто? – спросил охранник, глядя ему вслед, у женщины, спешившей ему навстречу с полным ведром воды и шваброй наперевес. От воды шел пар, видимо, она была теплой. Ерофеев внезапно ощутил, что жутко замерз.

 Откуда я знаю? – сказала женщина равнодушно. – Истопник, наверное, новый. Вроде, наняли вчера кого-то вместо Валерки.

На первом этаже палат не было, только кухня и врачебные кабинеты. Из кухни вкусно пахло теплыми булочками.

Он поднялся на второй этаж. В нос так и шибануло хлоркой с аммиаком. Над пустым сестринским постом кнопками был приколот список пациентов с номерами палат. «Ерофеева Н., палата 34». Это оказалось в дальнем конце коридора.

Войдя в тридцать четвертую палату, Ерофеев поразился чистоте воздуха. Ни мочи, ни хлорки — все запахи остались за дверью. Окно было приоткрыто, и за ним по-прежнему царила зима. А у мамы в палате пахло летом. Зеленью, травой, разогретыми солнцем листьями.

Толстая неопрятная медсестра в застиранном халате меняла в капельнице раствор. По трубке текло что-то зеленоватое, опалесцирующее. Медсестра наклонилась, проверяя, не выскочил ли катетер. Зад ее полностью загородил постель. Подождать, пока выйдет? Но Ерофеев уже столько ждал! Он решительно сделал шаг вперед.

Сперва он ничего не увидел. Только лицо, точнее, только глаза. Огромные серые глаза, которые, увидев его, сразу ожили и засветились синью. Глаза радовались и смеялись, они как бы говорили с ним на знакомом, но давно позабытом языке. Глазные яблоки двигались быстро-быстро. Вверх-вниз, вправо-влево. Глаза как бы ощупывали Ерофеева, жадно впитывая в себя его облик.

Само же лицо оставалось поначалу неподвижным, как маска.

- Что это? На кого смотрите, Нина? встревожилась медсестра.
 Мать, с трудом разлепив спекшиеся губы с немедленно выступившими от движений каплями крови, прошелестела чуть слышно:
 - Санюшка пришел! Совсем взрослый стал! А на отца как похож!
- Вы бредите, Нина! Откуда бы здесь... медсестра обернулась и замолчала.
 - Мама! Ерофеев рванулся обнять, но с воплем отшатнулся.
- Ироды! Зачем вы ее туда засунули?! Это что, леченье такое, что ли?

На кровати лежало дерево. Самое настоящее дерево. С ветками и зеленой кроной. В одной из веток продолблено было аккуратное отверстие, вглубь которого уходила трубка от капельницы. Ножной конец кровати был опущен в кадку с водой, где с трудом помещались многочисленные узловатые корни.

Мамино лицо выглядывало из дупла. Глаза больше не улыбались, смотрели встревоженно.

- Санюшка! Вот же я не хотела, чтоб тебя пускали. Сильно испугался?
 - Нет, я... Мам, что они с тобой сделали? Зачем они тебя так?
 - Что ты? Какие еще они? Это все я, я сама.
- Как сама? О чем ты говоришь, мама? Как можно такое сделать с собой? Зачем?!

– Саня, Санюшка, успокойся. Мне трудно говорить, да я всего и сама не знаю. Вот доктор придет и все тебе объяснит. А пока ты сядь. Вот здесь, на кровать. Чтоб я тебя видела.

Ерофеев послушно опустился на край кровати, чувствуя себя полным идиотом. Он уже понял, что никто его мать никуда не запихивал. Следовало признать очевидное – его мать превращалась в дерево. Процесс этот начался давно, зашел достаточно далеко и явно сделался необратимым. Ерофеев неожиданно вспомнил, что когда-то, в детстве, видел на маминых руках и ногах кусочки коры. Точнее, на запястьях и на лодыжках, откуда они распространялись одновременно и вниз, и вверх. Встречались также отдельные, спорадические участки на теле, иногда в самых неожиданных местах. Мама сама тогда отчасти деревенела. Забрасывала домашние дела, переставала вставать с постели. Маленький Ерофеев терпел поначалу, потом принимался ее тормошить: «Мам, вставай, да вставай же, мама!» Мать дергалась, вздрагивала и наконец отходила. Вставала, с трудом, медленно разминая затекшие конечности, потихоньку начинала двигаться, и кусочки коры с легким стуком сыпались с нее на пол.

- Вот, заговорила, помолчав, мама. Свиделись. Теперь я хоть уйду наконец спокойно. С чистой совестью, с легкой душой. Ты вырос таким, как я и хотела.
 - Откуда ты знаешь?

Ерофеев понемногу привыкал к ее облику. К тому же голос почти не изменился, разве что стал слабее. Именно таким голосом она разговаривала с ним во сне. – Мы ж с тобой еще и двух слов сказать не успели.

- Чувствую, мама улыбнулась, отчего на губах опять выступили капли крови. Нашел меня, приехал. Самостоятельный человек. Сын.
- Мама, я... Я думал, кончу школу, заберу тебя, будем жить вместе. Я ради этого терпел все, он почувствовал, что вот-вот заплачет. Что ж теперь... для чего теперь...
- Теперь ты будешь жить дальше, прошелестело с кровати. Пойми, ничего не изменилось. Мы увиделись, поняли, что попрежнему друг у друга есть.
 - Но, как же есть? Ведь ты же... ведь тебя же больше не будет.
- Ты, значит, так ничего и не понял? Глупый! Наоборот, теперь я буду жить долго-долго.

Она замолчала. Ерофеев немного подождал и встревожился. Он посмотрел и увидел, что рта у нее больше нет – подбородок и рот покрывали свежие, глянцевые чешуйки коры. От лица остались только глаза и ноздри. Глаза были прикрыты веками. Мама спала.

– А я и не знал, что у Нины такой взрослый сын! – весело пророкотал над ухом жизнерадостный баритон. Ерофеев поднял голову и увидел человека в джинсах, ковбойке и небрежно наброшенном на плечи халате. – Думал, вы еще в школе.

- А я там и был, признался с каким-то мстительным удовольствием Ерофеев.
- Вот как? казалось, доктор не особенно удивлен. Пойдемте, нам с вами надо поговорить. Вас ведь Сашей зовут, верно? Не бойтесь, она теперь не скоро проснется. Если вообще. Собственно, ей ведь больше незачем просыпаться. Вы своим появлением ускорили, так сказать, процесс.
 - Как?! И вы с этим ничего не сделаете?
- Давайте, Саша, все же выйдем отсюда. Насколько я знаю, у вашей матери превосходный слух, и мне бы не хотелось говорить при ней.

Ерофеев бросил прощальный взгляд на кровать. Мамины веки не шевельнулись. Он вышел и прикрыл за собою дверь.

* * *

- У вашей матери сравнительно редко встречающееся отдаленное осложнение вторичного сколиоза, когда сперва происходит перерождение в кору многослойного плоского эпителия кожи, а затем постепенно видоизменяются и редуцируются внутренние органы и ткани.
- Но разве нельзя с этим ничего поделать? Я помню, мама и раньше иногда корой покрывалась. Но потом вставала, и все с нее осыпалось.
- Не на этой стадии. Вы видели, она уже пустила корни. Удивительно, что еще так долго держалась. Как правило, с корнями процесс идет гораздо быстрее. Поверьте мне, мы сделали все, что могли.
- Я и не знал, что мама перенесла... вторичный сколиоз, Ерофеев слегка запнулся.
- Вы были еще ребенком, когда вас разлучили. Странно было бы, если бы она вам сказала. Такое не рассказывают детишкам на ночь. Хотите курить?
 - Да, если можно.

Они вышли и не торопясь обогнули дом. Оказалось, за ним был небольшой сад. Вишни, яблони, груши. Пара высоких тополей, несколько раскидистых дубов. Ясени, осины, березки.

- А здесь, врач указал на невысокий пригорок, мы посадим вашу маму. Она сама так захотела. Еще когда была способна ходить, показала место. А вы станете к ней приезжать. Поливать, удобрять, окапывать. Смазывать известью от насекомых. Будете ей всё рассказывать, внуков к ней привезете. Есть мнение, что способность слушать и воспринимать информацию сохраняется у таких пациентов надолго, если не навсегда. Это, впрочем, почти невозможно проверить.
- Вы хотите сказать, Ерофеев потрясенно огляделся, что все эти деревья вокруг...
 - Ну да, кивнул врач и протянул Ерофееву зажигалку.

Белла Верникова Татьяна Мартынова

МУРКИНЫ ПИСЬМА

Наша Мурка уверена, что знаменитый кот Мур немецкого писателя Гофмана — ее предок. Поэтому она пишет литературные письма и посылает их по электронной почте бывшей соседке, переехавшей вместе со своим хозяином в Израиль. Соседскую кошку теперь зовут Хатулька (переделанное на русский лад с иврита слово «кошка»). Мальчик Боба называет ее Хатулька-коротулька. В Муркиной квартире кроме Бобы живут его сестрички-двойняшки Танечка и Беллочка, их мама и папа, попугай в клетке и песик Гога. Подробнее о них обо всех вы узнаете из Муркиных писем.

1-е письмо Мурки

Хатулька, у меня хорошая новость!

Наконец-то я получила доказательство своего прямого родства с известным котом Муром, про которого писатель Гофман написал книжку на немецком языке. Сегодня папа нашел в Интернете портрет литературного кота Мура и показывал его детям. А Танечка меня взяла на коленки, и я тоже все видела. Прикрепляю к своему письму его портрет и мою недавнюю фотографию на скамейке в парке. Сравни наши хвосты! Оба хвоста — с поперечными полосками! Сразу видно, кто чей потомок. Да и мордочки у нас похожи, умные и любознательные. Я, конечно, симпатичнее его, но мне и положено — я ведь кошечка, а не ученый кот.

Хатулька, оказывается, писатель Гофман придумал не только кота Мура, но и других знаменитых героев. И балет «Щелкунчик», который наши девочки с мамой недавно смотрели по телевизору, композитор Чайковский сочинил по книжке Гофмана. После этого балета у нас дома случилась целая история. Беллочка сразу же попросила, чтобы ее отдали в танцевальный кружок. Мама пошла и записала Беллочку и Танечку вместе. Но Танечка не захотела учиться танцевать, ей больше нравится рисовать, и она хочет поступить в художественную школу.

Танечка вся в меня: если она чего-то не захочет, то и не будет этого делать. Мама, конечно, была недовольна — у нее нет времени водить девочек в разные кружки. Но папа сказал, что Таня здесь проявила характер, и хорошо, что она умеет настоять на своем. И добавил взрослыми словами — значит, уверенности в себе ей не занимать.

Наши девочки не только танцуют и рисуют. Они еще ходят в группу английского языка. Мама считает, что иностранный язык надо учить до школы, когда дети схватывают язык из воздуха.

Знаешь, Хатулька, оказывается, собаки по-английски не гавкают, а баркают. Зато кошечки говорят похоже – мяу и мияу.

Твоя говорящая на разных языках Мурка.

2-е письмо Мурки

Дорогая Хатулька! Хоть я и веду свою родословную от литературного кота Мура, я его совершенно не понимаю. Почему его так волнует, где он родился? Какая разница, на чердаке или где-то еще?

Меня больше интересует не где, а когда я родилась. В каком месяце? Я хочу точно знать, какой я знак зодиака по гороскопу, чтобы наконец-то разобраться в своем характере.

Танечка и Беллочка про меня говорят – Мурка у нас самостоятельная. А их мама добавляет: как всякая кошка, наша Мурка гуляет сама по себе.

Ну, во-первых, я не всякая кошка, а прямой потомок знаменитого кота Мура.

Я веду литературную переписку, и у меня даже есть свой электронный адрес. И, во-вторых, я очень красивая кошечка. Когда все уходят из дома, я люблю полежать у зеркала и полюбоваться на себя в полный рост.

Хотя Боба говорит, что Мурка у нас беспородная, я очень даже породная. В следующем письме напишу тебе про свою породу подробнее.

Вчера Танечка учила наизусть стишок про кошку, в котором правдиво показано, как с нами иногда обращаются. Танин папа сказал, что его сочинил поэт по фамилии Черный. Наверное, тоже потомок нашего кота Мура — на некоторых портретах он черно-белой окраски. Посылаю тебе правдивый стишок поэта Черного из кошачьей жизни:

Дочурка под кроватью ставит кошке клизму, В наплыве счастия полуоткрывши рот, И кошка, мрачному предавшись пессимизму, Трагичным голосом взволнованно орет.

Хатулька, пиши мне на e-mail: murka kiskisnet@mail.ru

Твоя добрососедская Мурка.

3-е письмо Мурки

Дорогая Хатулька!

Спасибо тебе за стишок, который ты прислала в недавнем своем письме:

Перл и Берл затеяли готовку, Перл и Берл пирог пекли в духовке, Перл и Берл стихи слагали ловко, Таскали перлы из перловки.

Ты пишешь, что этот стишок все время напевает твой хозяин и всем говорит, что когда он был маленький, что-то похожее пела его бабушка по-еврейски. Молодец твой хозяин, что перевел такое замечательное стихотворение с еврейского языка на русский.

Как прямой потомок немецкого кота Мура, я лучше других знаю, как все должны быть благодарны переводчикам литературы с одного языка на другой.

Если бы не было переводчиков, то про моего знаменитого предка не смогли бы прочесть многие люди из разных стран. Кто теперь знает по-немецки? Или по-французски? Все вокруг учат английский язык. Даже мой электронный адрес написан по-английски:

murka kiskisnet@mail.ru

Я твой стишок буду всем рассказывать вместо скороговорки «Карл у Клары украл кораллы». Потому что эти Карл и Клара какие-то воришки, все время друг у друга что-то крадут. А вот Перл и Берл – хорошие мальчики, веселые и ловкие, и помогают маме на кухне.

Наш Боба вовсе не такой. Зато Танечка и Беллочка маме помогают часто. Танечка раньше любила мыть посуду, но после одного случая посуда ей больше не нравится. Они с Беллочкой теперь учатся готовить, и у них уже вкусно получается. Танечка всегда дает мне попробовать, что она сварила.

Мне нравится, а Танечка всем говорит:

– Смотрите, как Мурка облизывается, значит, вкусно.

Мама ей отвечает:

– Ну, если Мура одобрила, значит, действительно вкусно.

А папа добавляет взрослыми словами:

– Мурка у нас воспитательный фактор.

Но я его понимаю – он хотел сказать, что я помогаю родителям в детском воспитании. А недавно мама меня поставила в пример:

 Посмотрите на Мурку: ей дали поесть, она все съела, облизнулась – всем СПАСИБО за вкусную еду – и отошла в сторону, ни к кому не пристает со своими просьбами. Боба, это я тебе говорю. Чтобы ты не канючил – хочу то, хочу сё, особенно когда мы идем в магазин за покупками.

Хатулька, посылаю тебе портреты попугая и песика Гоги работы нашей Танечки. Она у нас очень талантливая!

Твоя воспитательная Мурка.

4-е письмо Мурки

Хатулька, привет! Огромное спасибо за фотографии, которые ты прикрепила к недавнему письму. Ты очень хорошо выглядишь, такая элегантная и веселая кошечка, просто глаз не оторвать. Передай привет своему хозяину, он хороший фотограф.

Я тебе уже писала, что в Интернете много интересного для нас, котиков и кошечек. Есть фотографии представителей разных кошачьих пород и всякие кошачьи стихи. Например, поэтесса Ирина Явчуновская перевела стишок про английскую кошку Солли, очень познавательный:

Джек Бэлл мяса не ел, Жена его Салли не ела сала, Их кошка Солли не ела соли. А за обедом и Джек и Салли Тарелки взяли и облизали.

Видишь, Хатулька, нашим девочкам и Бобе не разрешают облизывать тарелки, а в Англии люди что хотят, то и делают. Наверное, Джек и Салли по гороскопу Скорпионы. Этот знак зодиака никаких правил не соблюдает, поэтому с ним трудно. Папа говорит, что правила придуманы для того, чтобы друг с другом было приятно — там дальше взрослое слово — СОСУЩЕСТВОВАТЬ. Это значит — жить вместе. А Скорпион может любого ужалить, он так устроен.

Я уж точно не Скорпион, хотя месяц моего рождения мне неизвестен. И когда я слышу, как все вокруг спрашивают – ты кто по гороскопу? – или хвастаются, как наш Боба, – я по гороскопу Овен! – бывает грустно. Но я утешаюсь тем, что гороскопу нельзя особенно доверять. Вот Танечка и Беллочка – двойняшки, и по гороскопу должны быть под одним знаком, а в жизни они совсем разные.

Танечке больше подходит знак Тельца — она спокойная, немного упрямая и все делает по правилам. Она любит вышивать и заниматься, если ее не заставляют. А Беллочка у нас настоящий Стрелец. Ей все легко дается, и с ней всегда интересно, особенно песику Гоге.

На самом деле они родились в начале марта, значит, по гороскопу – Рыбы. Ничего похожего. Рыбы очень музыкальные, а Танечке и Беллочке медведь на ухо наступил. Это значит, что у них нет музыкального слуха и не стоит их учить музыке. Зато наши девочки любят танцевать и не переживают из-за какого-то специального слуха. А обычный слух у них очень хороший.

Взрослые как-то говорили, что Танечка и Беллочка разнояйцевые близнецы, поэтому они разные. Этого я совсем не понимаю. Только птички вылупливаются из яиц, а дети рождаются как котята. Я у Танечки спросила, что это значит, но она сама еще не знает, это в пятом классе проходят.

Хатулька, меня зовут ужинать, поэтому я с тобой прощаюсь.

Как и прежде, пиши мне на e-mail: murka kiskisnet@mail.ru

Твоя безгороскопная Мурка.

5-е письмо Мурки

Дорогая Хатулька, здравствуй! Давно уже тебе не писала. Наши девочки пошли в первый класс, дома много новых забот и впечатлений.

В ответ на стишок поэта Черного ты пишешь мне, что лучше, когда в доме нет никаких детей. Тихо и спокойно. Я не согласна. С детьми гораздо интереснее. Они с нами играют и разговаривают, не то что взрослые. Многие взрослые вообще уверены, что коты и кошечки не умеют говорить. Что им на это скажешь?

Дети нас любят, а мы их в ответ просто обожаем. Я, например, очень дружу с Танечкой. А Беллочка больше дружит с песиком Гогой, хотя они и ругаются все время. Но у них – такая дружба. К тому же дети помогают нам посмотреть на себя со стороны и расширить свои увлечения.

Раньше я увлекалась в литературе только кошачьими стихами – я ведь потомок знаменитого кота Мура. Но, глядя на Беллочку и песика Гогу, я все больше интересуюсь стихами про собак. Мне очень нравится собачий стишок поэтессы Мартыновой, которую зовут Татьяна, совсем как нашу Танечку. Вот этот стишок:

Американского дога Просили молчать, ради Бога.

Но этот прославленный дог Молчать больше часа не смог.

Поэтому пудель расстроен, Поэтому такса - с компрессом. А если их в комнате трое, Представьте же уровень стресса!

Поэтесса Татьяна правильно заметила, что некоторые собаки совершенно не умеют молчать. И своим бесполезным лаем портят всем настроение. Наш песик Гога совсем не такой. В следующем письме напишу о нем подробнее.

Хатулька, ты спрашиваешь, как я теперь выгляжу? Посылаю тебе свои портреты Танечкиной работы, называется — Мурка днем и вечером.

Постараюсь писать тебе почаще, а ты – мне.

Твоя живописная Мура.

6-е письмо Мурки

Хатулька, ура!

Про меня уже написали стихи, и очень хорошие!

Расскажу тебе, как я об этом узнала. В выходные дни, когда папа дома и не бежит на работу, он устраивается с детьми на диване с какой-нибудь новой книжкой. И читает всю ее до конца. В нашем доме не любят толстые книги для детей – никогда не узнаешь, чем все закончилось, если папа не успеет дочитать книжку в эти выходные. А заканчивать книжку через неделю просто глупо – все уже забыли, с чего она начиналась.

Я всегда лежу в сторонке и наблюдаю за ними. Это мои самые приятные наблюдения. Боба устраивается у папы на коленях, Танечка – под одну руку, Беллочка – под другую, и папа начинает читать. Книжку они держат по очереди, а странички переворачивают, кто когда захочет. Если попадаются картинки, то все склоняются над книжкой, не разберешь, кто где. Или начинают вместе смеяться и даже прыгать по комнате от удовольствия. Конечно, папа не прыгает, но тоже очень доволен.

А недавно у них появилось новое увлечение — Интернет. Раньше только взрослые им увлекались. Но сегодня в Интернете есть много интересного и для детей. И даже для нас, котов и кошечек. Вчера папа искал в Интернете новые детские стихи и — представь себе! — нашел там стишок про меня. Он так и сказал детям — вот и про вашу Мурку стихи сочинили. И прочел стишок поэта Геллера «На закате»:

Лишь только над крышей Погаснет закат, Летучие мыши Из рощи летят.

И Мурка вздыхает Впотьмах у окошка: «Как жалко, что я Не летучая кошка!»

Конечно, в этом стихотворении много художественного вымысла. Буду я еще жалеть, что я не летучая! Я как раз очень летучая – с одного дерева на другое.

Но без фантазии в искусстве нельзя — это я по себе знаю, как потомок литературного кота Мура. Наконец-то я его понастоящему поняла — быть литературным героем приятно, но и ответственность большая. Что про тебя подумают читатели? Или критики?

Танечка и Беллочка стихи про меня уже знают наизусть. А Боба даже сказал, что Мурка лучше любой мышки, летучей или нелетучей. В этот раз я с ним совершенно согласна. Хатулька, мне интересно и твое мнение!

Твоя поэтичная Мура.

7-е письмо Мурки

Дорогая Хатулька! Спасибо тебе за полезное письмо. Ты правильно пишешь — какая разница, что о нас подумают неизвестные люди, коты и кошечки. Или даже очень известные! Каждый что хочет, пусть то и думает о разных литературных героях. Главное, это уверенность в себе. А она у меня есть. Поэтому меня и ставят в пример детям.

Сегодня наши девочки пришли из школы возбужденные и все говорят про какую-то Любу. Оказывается, их в классе посадили не вместе, и Танечка сидит рядом с Любой. Вот Люба на переменках и стала к ней приставать – пойдем туда, пойдем сюда. Танечка хочет к Беллочке – целый урок не виделись, а Люба от нее не отстает.

Наша Беллочка уже так насобачилась с песиком Гогой разбираться, что прямо этой Любе сказала: чего вдруг Таня пойдет с тобой в туалет, если ей туда не нужно. Иди сама и не приставай со своими просьбами!

Люба губки надула и говорит Танечке – я с тобой не разговариваю, и все время на нее косо посматривает. А Танечка переживает, что из-за нее Любу обидели.

Все это они наперебой маме рассказали, а мама им говорит: девочки, привыкайте к тому, что люди есть разные. Надо к этому спокойно относиться, быть со всеми приветливыми и поступать, как вам удобнее. Таня, не хочешь идти с Любой, просто скажи ей – спасибо, я не хочу. И отойди в сторону. Как твоя Мурка. Попро-

буй заставить ее пойти туда, куда ей не нужно! А если кто-то на тебя посмотрит криво или косо, – так это их проблемы.

Про меня мама все правильно сказала, она мой характер хорошо понимает. Конечно, у нее большой опыт. Трое детей, и все такие разные.

Наш вредина Боба как узнал, что я веду литературную переписку с израильской кошкой Хатулькой, так сразу стал дразнилки сочинять – Хатулька-бабулька, Хатулька-коротулька. Хотя ты вовсе не коротулька, а очень даже длинная кошечка, если считать вместе с хвостом.

Ты меня в прошлом письме спросила, что такое художественный вымысел. Вот это он и есть, когда автор выдумывает всякие художества, чтобы поинтереснее было. Хоть бы наш Боба стал поэтом, когда вырастет. Поэт может быть вредным, ему все прощается за его талант.

Оказывается, есть целая книжка вредных стихов поэта Остера. Папа ее недавно читал детям, и все очень веселились. Боба уже наизусть выучил половину вредной книжки. Ходит все время и распевает, например, такое:

Никогда вопросов глупых Сам себе не задавай, А не то еще глупее Ты найдешь на них ответ. Если глупые вопросы Появились в голове, Задавай их сразу взрослым. Пусть у них трещат мозги.

Хотя этот стишок поэта Остера не сильно вредный и даже немного воспитательный.

Твоя уверенная в себе Мура.

8-е письмо Мурки

Дорогая Хатулька, хочу поделиться с тобой своей мечтой. Она у меня возникла, когда папа читал девочкам и Бобе сказку из Интернета. Героиню этой сказки зовут так же, как нашу Беллочку, принцесса Белла. Довольно вредная принцесса, но оказывается, что вредным тоже полезно быть иногда. Чтобы победить всяких нехороших министров и других отрицательных персонажей. И не только в сказке, а даже в настоящей жизни.

Так вот, про мою литературную мечту. В этой сказке принцесса Белла сначала хвалит своего автора, а потом его ругает — за то, что он для нее насочинял всякого-разного. Ее автора зовут Ефим Гаммер, и мне он особенно понравился тем, что пишет не только про принцесс и не только прозу, но и стишки про нас, котов и кошечек. Проза, это когда написано на всю страницу и никто такие страницы наизусть не заучивает.

Посылаю тебе кошачий стишок поэта Гаммера:

У тебя квартира с миской?
Хорошо быть юной киской!

Я тебе писала в прошлом письме, что дружба Беллочки с песиком Гогой помогает мне находить много интересного и в стихах про собак. Вот, например, собачий стишок поэта Гаммера из той же его сказки «Принцесса Сахарного королевства»:

Урр-урр, гав-гав. Кто не съеден, тот не прав. А кто съеден, тот не вреден, Даже будь он волкодав.

Стишок немного страшный, зато очень воспитательный!

Теперь про мою мечту. Хатулька, хорошо бы у нас с тобой были свои авторы. Мы бы их никогда не ругали, как вредная принцесса Белла.

Ты себе даже не представляешь, какое это удовольствие быть литературным героем! Почти такое же, как муркаться с Танечкой, когда она угощает меня конфетками «Коровка» и почесывает мне шейку. Это мама ей всегда говорит — Таня, хватит с Муркой муркаться, садись заниматься. Хотя мама хорошо знает, что Танечка не любит, чтобы ее заставляли. Но взрослым часто не понять детей и котов, о чем автор принцессы Беллы написал в стихах, которые так и называются — ВЗРОСЛЫМ НЕ ПОНЯТЬ.

Папа сказал, что в Интернете собирают целую Антологию детских стихов — это значит толстую книжку, где много авторов. И авторы Антологии живут, как и ты, Хатулька, в Израиле. Если встретишь кого-нибудь из них — передавай привет от меня. И скажи им, что я потомок литературного кота Мура и очень хочу, чтобы про котов и кошечек писали почаще. Пусть даже с художественным вымыслом, мне не жалко.

Жду ответа, твоя литературная Мура.

9-е письмо Мурки

Дорогая Хатулька!

Еще расскажу тебе один воспитательный случай. Танечка и Беллочка уже знают все буквы, поэтому папа решил, что пора им

выучить наизусть алфавит. Это такая таблица, где буквы расположены от А до Я. Чтобы алфавит легче запоминался, папа нашел в Интернете детские стихи про Зверенка Растрепу:

Зверенок Растрепа учил наизусть алфавит по Азбуке русской, где буквы тверды и мягки. Скорее запомнишь, когда по порядку звучит, и сами собою построились буквы в стихи:

А Бэ Вэ Гэ Дэ Е Ё Жэ Зэ И Й краткое Ка эЛ эМ эН О Пэ эР эС Тэ У эФ Ха Цэ Че Ша Ща твердый знак(Ъ) Ы мягкий знак (Ь) Э Ю Я

Лохматого Зверенка придумала поэтесса Верникова, которую зовут так же, как нашу Беллочку.

Танечке и Беллочке так понравился Зверенок Растрепа, что они с удовольствием выучили все стихотворение наизусть. Поэтому наши девочки хорошо знают алфавит и распевают его в рифму, когда им весело.

Вот какие воспитательные стихи можно найти в Интернете! Хатулька, Танечка и Беллочка пришли с прогулки с песиком Гогой, оттого мое письмо такое короткое, и я с тобой прощаюсь. Твоя алфавитная Мурка.

10-е письмо Мурки

Хатулька, привет! Спасибо тебе за умное письмо. Твоя идея составить Антологию кошачьих стихов пришлась мне по шерстке. Это совсем нетрудно.

Конечно, такая поэтическая книжка будет открываться стишком про меня – я тебе его посылала в прошлом письме. Другие стихи из моих писем пусть тоже туда войдут, раз они мне понравились. И надо будет собрать нашу классику, которой много в Интернете. Посылаю тебе стишок из кошачьей классики поэта Хармса – про летучую кошку:

И сразу столпился народ на дороге – Шумит, и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, Отчасти по воздуху плавно летит!

Я как потомок классического кота Мура без классики никак не могу обойтись.

Когда соберем Кошачью антологию, мы сможем обратиться к стихам про собак. Про них тоже сочинили много классической и современной поэзии. Особенно мне нравится стишок поэтессы Татьяны про американского дога, совсем не умеющего молчать, – я тебе его уже посылала. Вот бы поэтесса Татьяна Мартынова, так хорошо разбирающаяся в собаках, и поэтесса Белла Верникова, которая придумала Зверенка Растрепу, сочинили книжку про двух симпатичных кошечек, Хатульку и Мурку! То есть про нас с тобой.

Нам бы даже не пришлось привыкать к своим авторам, ведь их зовут так же, как Танечку и Беллочку! Я бы им подарила нашу с тобой переписку для книжки. Многие писатели публикуют письма своих литературных героев, так даже интереснее. И пусть сочиняют любой художественный вымысел, могут даже придумать мне кошачьего мужа — я знаю, что в книжке без любви не обойтись. Только бы они эту книжку написали!

Хатулька, недавно папа снова читал девочкам и Бобе стихи поэтессы Беллы про Зверенка Растрепу, вот по какому случаю. Наш Боба гулял с ребятами во дворе и услышал, что в соседнем доме есть спортивный зал, куда записывают детей заниматься гимнастикой. А Боба еще раньше запомнил стишок про быстрых и стройных гимнастов – тех, что Растрепа видел в спортзале. Когда они пришли с ребятами записываться, тренер их всех посмотрел, но записал только Бобу и еще одного мальчика. Потому что у них есть данные.

Все это Боба с такой гордостью рассказывал дома, что я за него очень порадовалась. Я уверена, когда он начнет заниматься гимнастикой, сразу перестанет вредничать – от усталости. И мама тоже порадовалась, потому что спортивный зал рядом с домом, и Боба сможет туда сам ходить. А папа его похвалил за самостоятельность – он уже не маленький и скоро пойдет в школу.

Папа решил снова прочесть вслух такого воспитательного Зверенка, и правильно сделал. Когда он объяснял детям, что Эрмитаж — это большой музей картин, Танечка сразу же спросила, можно ли им на сайте туда зайти, как любит делать Растрепа. И к ее огромному удовольствию, папа нашел в Интернете и стал показывать детям картины из разных музеев. Теперь Танечку от Интернета не оторвать. Я тоже увидела много всякого искусства, потому что Танечка всегда берет меня на коленки. Она знает, что с друзьями я теплая и ласковая.

Только Интернета скоро не будет – до следующего учебного года. Танечка и Беллочка оканчивают первый класс, и на летние

Проза

каникулы наша семья переезжает на дачу. Конечно, вместе со мной, песиком Гогой и попугаем в клетке. А там нет компьютера. Значит, я не смогу тебе посылать электронные письма целое лето!

Хатулька, желаю тебе крепкого здоровья. До осени, твоя интернетная Мурка!

Дина Ратнер

«ТО, ЧТО СТРАШИТ, ТО ВОЗДАСТ НАМ РОК...»

(из стихотворения Ибн Габироля)

Под мистикой я понимаю связь с Богом, внутреннее сознание Божественного присутствия. В чем заключается сущность этого опыта и как можно его адекватно описать, составляет великую загадку, разгадать которую пытались как сами мистики, так и историки. Отсутствие автобиографического элемента служит помехой для понимания психологического аспекта еврейской мистики.

Гершом Шолем

Дурак обвиняет других; умный обвиняет себя; мудрый же не обвиняет никого, ибо он разговаривает с Небесами.

Ибн Габироль

Я их ещё издали заметил, они шли мне навстречу; высокие, тонкие. В этой группе необычных, словно с другой планеты, людей я сразу выделил синьору средних лет и невольно улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ — мне, низкорослому уроду. Я поспешил, пока не пройдут мимо, перевести взгляд на спутника поразившей меня синьоры — хотел увидеть счастливого человека. И недоумевал его унылому, будничному выражению лица, словно обладание такой чарующей женщиной само собой разумеется. Дети подросткового возраста, что шли перед ними, должно быть, сын и дочь, тоже высокого роста. Я не оглянулся на эту возвышающуюся над прохожими группу; боялся утратить видение улыбки той, что секунду назад была рядом. Так боятся неосторожным движением расплескать полное до краев ведро воды. Увижу ли ещё когда-нибудь эту откликнувшуюся на мой восторг удивительную незнакомку...

Впрочем, в Валенсии я мало с кем знаком: вынужденный своими соплеменниками уехать из Сарагосы, поселился здесь недавно. Дав волю воображению, представил, будто только что увиденная женщина любит меня, и мы с ней не можем наглядеться друг на друга, подобно моим родителям. С какой нежностью мама смотрела на отца! Земная связь мужчины и женщины, души которых нашли друг друга в бесконечности времени, способствует гармонии в Высшем мире.

Усмехнувшись своим несбыточным мечтам о близости с той, глаза которой будто видят то, что скрыто от других, я постарался вернуться к своему всегдашнему ощущению одиночества. Вернуться к самоотверженности аскета, который стремится уяснить порядок мироустройства; знание это выводит за пределы чувственного мира, освобождает от страданий и соединяет с Творцом

источником жизни. Однако сколько бы я ни убеждал себя, что в победе «разумной души» над «животной душой» заключается усовершенствование человека, смысл и счастье жизни, я не могу победить желание оказаться рядом с женщиной, взгляд которой переселил меня в заоблачную даль, где на мгновенье соединились наши души. Я говорю себе, что свобода души предпочтительней наслаждений тела, и счастье – результат мудрости, а хочу её реальную – во плоти.

Удаляясь от места, где встретились наши глаза, я всё больше сутулюсь, шаги становятся медленными, тяжелыми. Наверное, так человек, потеряв надежду на спасение, уходит, не оглядываясь. Мой дом на этот раз представился особенно неприютным. Я обрадовался даже пауку, висящему в углу под потолком, — единственному живому существу, разделявшему мои будни. Сами собой появились мысли о присутствии в действительности следов Высших Миров, о религиозно-космическом оправдании любви. То переход от одержимости эросом к просветленной любви, открывающей сверхчувственный идеальный мир.

Я стараюсь представить себя в этом идеальном мире счастливым – и не получается. «Ты же, – уговаривал я себя, – посвятил жизнь делам духовным и избегаешь дел земных. Вечные ценности духовной жизни могут ли сравниться с бренностью плотских желаний? Волей Бога сотворен мир, и усилием воли человек делает себя».

В детстве я едва поспевал за своим воображением. Слушая рассказы родителей о наших праотцах, я приобщался к откровению Авраама, постигшего единое начало мира; видел себя Ицхаком безропотно легшим на жертвенный костер; Иаковом — на лестнице в небо, по которой спускались и поднимались ангелы. Разговаривать с Богом можно только один на один; лестница Иакова мне представляется символом восхождения к абсолютному знанию. «К Создателю можно приблизиться сверх-напряжением ума и души», — говорил отец, благословенна его память. При этом чувства подчиняются разуму. Это с одной стороны, с другой — разум во многом определяется чувствами; ведь предметом осмысления являются наши переживания, в противном случае не о чем было бы размышлять. Другими словами, мысль зарождается в сердце.

Отец рассказывал о загадке мироздания, которая влечет человека за грань реальности. Говорил и о том, что где бы мы ни жили, мы чувствуем себя изгнанными из небесного города — Иерусалима. При этом пребывание Бога с еврейским народом продолжается также и сейчас, в изгнании, и чтобы Он не оставил нас, необходима нравственная чистота; как мы живем с Всевышним, так и Он пребывает с нами.

В Малаге, где я родился, мы с отцом утром на берегу моря подходили к самой кромке воды, всматривались в искрящуюся водную даль, медленно выплывающее из-за морской глади солнце. На рассвете розовели утратившие земное притяжение дома, светлели ещё не сбросившие ночную дрёму дальние, покрытые густой зеленью горы. Я мало что понимал в мыслях отца вслух об Интеллекте, рождающемся из сочетания первичной материи и первичной формы, о Душе – производной Интеллекта, развивающейся в процессе познания. Словно вспомнив обо мне, пятилетнем мальчике, отец переключался на наставления о необходимости изучать все науки. «И только связав воедино всё познанное людьми, можно приблизиться к разгадке тайны творения мира и человека», - говорил он. Я не признавался отцу, что слово «интеллект», которое он часто повторял, представлялось мне серым лохматым зверем, владеющим мыслями и чувствами всех живущих на земле. С большей охотой я думал о людях, старых и молодых, что шли навстречу, когда мы возвращались с прогулки домой; придумывал им судьбы. Меня занимала жизнь не только великих: знатоков медицины, астрономов, философов, о которых вспоминал отец, но и простых людей, и тех, что ушли в мир иной. Например, актеров, игравших в римском театре, развалины которого сохранились у нас в Малаге. При виде словно обкусанных временем каменных стен, пустых, обвалившихся, когда-то заполненных зрителями ярусов, я пытался вжиться в состояние актеров-рабов, судьба которых зависела от их таланта. Если плохо играли – их подвергали публичной порке, а если хорошо – отпускали на волю. Как бы там ни было, во всех представлениях, посвященных античным богам, я хотел победы добрых людей над злыми.

«Римляне всё взяли у греков, – рассказывал отец, – и театр тоже; всё те же языческие боги, и главный из них – Зевс, разрешитель конфликтов и вершитель судеб». Хорошо сохранившийся сказочный римский дворец, который был построен тысячу лет назад, мне казался обителью муз и светлых ангелов. А за стенами крепости мавританских правителей Малаги Алькасаба, что была рядом с развалинами римского театра, я воображал танцующих у мраморного фонтана девушек в одеждах цвета радуги. Домой мы возвращались улицей с необхватными деревьями, сквозь листву которых просвечивали потемневшие от времени дома с цветными витражами и витиеватыми решетками, за которыми я старался разглядеть их обитателей.

Валенсия, где я оказался спустя тридцать лет, подобно Малаге, красивый старинный город на берегу моря, основан римлянами в сто тридцать восьмом году до нового летоисчисления. Римский период закончился через пять столетий, когда город завое-

вали кочующие племена вестготов – христиан, не признававших божественное происхождение Христа. В семьсот четырнадцатом году Валенсия была захвачена мусульманскими маврами. Здесь, подобно Малаге, меняющее цвет море: светлое, лазурное, опаловое с морщинкам ряби. Похожие песчаные и скалистые берега, и также развалины римского театра. В центре города шумная многоязычная рыночная площадь с цветистым изобилием товаров. Чуть поодаль тесные улочки, петляющие между каменными стенами, где, чтобы увидеть небо, нужно запрокинуть голову.

Когда шел к дому, где снял комнату, и где как всегда, окажусь наедине со своими мыслями, я думал о женщине, которая несколько минут назад улыбнулась мне. Что в ней удивительного? Необыкновенной красавицей не назовешь. Так что же? Наверное, глаза, от которых трудно отвести взгляд, словно она видит то, что за пределами материального мира. Душа человека с такими глазами не состарится.

Сущность человека — его душа, что происходит от Высшего Разума, который можно отождествить с Мировой душой. Непостижимая Мировая душа — над нашим миром, а здесь, на земле, у каждого своя роль; кому-то назначено играть короля, а кому-то шута при дворе монарха. По-разному они видят мир и любят поразному; может случиться, что в обожании шута идея — сущность любви — воплощается больше, чем во внимании пресыщенного короля. И, конечно же, я себя видел в роли шута.

Случайно встретившаяся женщина напомнила об идеях Платона — вечных неизменных сущностях. Античный философ, живший полторы тысячи лет назад, утверждал, что всё постигается путем воспоминаний неких прообразов. Вот и синьору, которую сегодня встретил, я вспомнил. Иначе почему она показалась мне знакомой, будто когда-то в прошлой жизни мы были близки и обязательно будем вместе в будущей.

Мои представления об идеальных отношениях мужчины и женщины не только плод воображения, но и впечатления реальной жизни. С первых дней, как помню себя, я воспринимал маму и отца нераздельными; связанные незримым притяжением, они, подобно шарикам ртути, разделившись, тут же стремились друг к другу. Мир под любящими взглядами родителей казался совершенным. Совершенство мира я видел и в чудесных историях, которые они рассказывали мне: про царя Соломона, понимавшего язык птиц и зверей, про царицу Савскую, приехавшую из другого царства познакомиться с мудрецом. «Мудрость, — наставлял меня отец, — источник жизни, глубокое проникновение в сущность вещей. Это посредник между Богом и осязаемой реальностью, источник добра, вдохновения».

Когда Соломон ещё мальчиком был помазан на царство, Бог явился ему во сне и обещал исполнить любое его желание. Соломон попросил сердце мудрое; мудрость сама приходит к ищущим её. В Притчах Соломона сказано: «Блажен человек, нашедший мудрость, и человек, приобретший разум».

Провидение хранило отца, бежавшего в тысяча тринадцатом году из Кордовы. Бежал он вместе со своими единоверцами от погромов вторгшихся туда североафриканских племен берберов. Дикие кочевники, лишь недавно обращенные в ислам, разграбили дома богатых горожан, лавки, склады. Разорившиеся люди селись в Гранаде, Малаге, Толедо. Отец выбрал юг Испании – цветущий город Малагу, что входит во владения Гранадского халифата. Там я и появился на свет спустя семь лет.

В Малаге оказался и бежавший из Кордовы двадцатилетний Шмуэль Ибн Нагрела, в будущем государственный деятель, полководец, поэт, талмудист и нагид¹ Отец восхищался его происхождением из рода царя Давида, и конечно, его ученостью. Помимо еврейского и арабского образования, Шмуэль усвоил светские науки — философию, математику, логику, изучал литературу, языки. Подобная ученость для осевшей в Испании большой части еврейской аристократии Палестины не была редкостью; потомственные интеллектуалы осваивали точные и гуманитарные науки.

Ко времени начала моих серьезных занятий математика казалась мне чем-то вроде формулы, определяющей закон строения мира, неким каркасом, в который вписываются звезды, солнце, луна. Жизнь людей, их разум, желания я относил к области философии и поэзии. Я знал, что люди не вечны, меня занимал вопрос: куда деваются их мысли, мечты, когда они уходят из этого мира? Себя я воображал не только бессмертным свидетелем происходящего, но и призванным дать ответ на все ещё не решенные вопросы.

Как бы я ни старался быть похожим на всесторонне образованного и прославленного в будущем Шмуэля Ибн Нагрела, которого станут звать Шмуэлем ха-Нагидом, я не мог, подобно ему, заняться торговым делом. В Малаге, вспоминали все знавшие его двадцатилетним после бегства из Кордовы, он открыл небольшую лавку пряностей и удивлял покупателей владением несколькими языками и осведомленностью в законах наших отцов. Шмуэля сравнивали с удачливым евреем Хасдаем Ибн Шапрутом — врачом, тайным советником, выдающимся дипломатом — и прочили скромному владельцу лавки пряностей подобный взлет. Так и случилось, слухи о его необыкновенных способностях дошли до халифа Абу аль-Арифа, который сделал Шмуэля своим секретарем.

¹ – Духовный глава еврейской общины в мусульманских странах в средние века

Проза

Старый правитель незадолго до смерти рекомендовал умного образованного помощника Хаббусу – королю Гранады, и тот назначил Шмуэля визирем, в ведомстве которого была административная, политическая и военная области. С этого времени, примерно с тысяча двадцать седьмого года, евреи стали называть своего покровителя и защитника ха-Нагидом, то есть предводителем.

Предводитель не всемогущ, он может защитить единоверцев, но не в его власти сделать их счастливыми. При виде неблагополучных людей, а именно на них обращено моё внимание, я чувствую себя виноватым за их неустроенность. В соседнем доме живет семья часовщика — маленького толстого человека с низкорослой женой, двумя толстыми девочками-подростками и избалованным кудрявым мальчиком. Девочки наперебой ублажают малыша, а тот капризничает, надувает губки, кидает игрушки, и сестрички тут же бросаются их поднимать. Не могу представить счастливыми этих пухлых приземистых девочек, что пошли в круглого, словно, пузырь, отца; трудно ему будет найти им женихов.

А я, маленького роста, в кого пошел? Ведь мои родители высокие, статные. По каким законам каждой душе даётся то или иное облачение? И есть ли у каждого определенная роль, которую надлежит исполнить?

Как бы то ни было, я низкорослый, болезненный, раздражительный человек, и жажда независимости у меня превращается в неуживчивость. Часто ловил себя на предощущении, что мне предстоит быть не участником жизни, а обособленным от людей исследователем связи, существующей между Творцом и Его творением — Бесконечным и конечным человеком.

Кто познает тайны Твои, когда создал Ты для тела необходимые средства воздействий Твоих?

И дал ему глаза, чтобы увидеть знаки Твои, и уши, чтобы слышать угрозы Твои, и мысль, чтобы понимать малую толику тайн Твоих, и уста, чтобы возглашать хвалу Тебе, и язык, чтобы поведать каждому приходящему о могуществе Твоем.
Как сегодня я, «раб Твой, сын рабы Твоей», возвещаю по бессилию языка моего малейшую часть превосходств Твоих.

² – *Тегелим116:16*, Пер. В.Н.Нечипуренко

Отец, большой любитель учености, воспитывал меня на примере великих. Он считал, что разговоры о великих людях так же плодотворны, как и общение с ними. «Мы ничего не знаем о них, положивших жизнь на познание мира и превративших Бога в живой опыт, интуицию, но можем постичь их творения, – говорил он. – И мы не знаем о их возможной неуверенности в себе, страданиях и верности делу, что вознаградится в веках». Из современников мой наставник почитал просвещенного сановника, врача, дипломата Хасдая Ибн Шапрута, ушедшего в другой мир несколько десятилетий назад. Будучи казначеем и первым министром Абд ар-Рахмана Третьего, Хасдай основал в Кордове еврейские школы, под его покровительством образовались кружки талмудистов, ученых, поэтов. Именно ему, бывшему главой над всеми иудеями халифата, испанские евреи обязаны тем, что у них, подобно пророческим временам в Израиле, мудрец стал цениться выше богача, а праведник – выше невежды. Десятый век принято называть золотым веком духовной культуры Андалусии. В моё же время, в начале одиннадцатого века, страна распалась на отдельные эмираты.

Отец рассказывал о Хасдае, как песню пел; о том, как тот, прослышав о существовании таинственного государства хазаров, изумился: действительно ли есть место на земле, где евреи никому не подчиняются? И влиятельный сановник, для которого суть нашей веры заключалась в непосредственной связи с Богом, готов был отказаться от всех своих почестей, бросить высокий пост и идти пешком в эту благословенную страну. Будучи министром иностранных дел, он спрашивал в письме к Иосифу – царю еврейского государства: «Есть ли у вас сведения о конечном чуде – пришествии Мессии, которого мы так долго ожидаем, скитаясь из страны в страну? Лишенные чести, униженные в изгнании, мы ничего не можем ответить говорящим нам, что у каждого народа есть царство, а у вас нет и следа царства. Весть о существовании еврейского государства помогла нам поднять голову, – писал Хасдай, – наш дух ожил и наши руки окрепли...». На своё письмо мечтатель получил восторженный ответ и приглашение занять высокий пост. Только случилось это за несколько лет до покорения Киевской Русью Хазарского царства.

Я разделял восторг отца по поводу ученых-единоверцев, но никогда не желал оказаться на месте прославленных Хасдая Ибн Шпрута и Шмуэля ха-Нагида, никогда не хотел попасть в князья. Я стремился постичь самое главное — волю Бога. И подобно Моше Рабейну, просил Творца: «Открой мне путь Твой, чтобы я познал Тебя, дабы обрести благоволение в очах Твоих». Вот и царь Давид заповедовал Соломону: «Знай Бога, Отца твоего, и служи Ему». В юности мне казалось, что постижение Всевышнего, складывающееся из знания всех наук, поможет понять то, что случается с человеком, и главное, найти источник жизни — основу всего происходящего в мире.

Из Малаги наша семья переехала в Сарагосу, там было безопасней, да и наш новый город оказался одним из просвещенных центров Андалусии. Первыми здесь переводились на арабский язык прославленные греки; предпочтение отдавалось трудам практической значимости: по медицине, астрономии, алхимии. Затем следовали философские трактаты. Благодаря работе переводчиков, среди которых было много образованных евреев, знавших древнееврейский, арабский, латынь и другие языки, не только в восточных, но и в европейских странах можно было познакомиться с трудами мыслителей разных направлений и эпох.

В Сарагосе жили государственные деятели, литераторы, знаменитые ученые, знакомство с работами которых, я надеялся, поможет моей главной цели – постижению божественной мудрости, тайны мироздания. Знатоки Талмуда, философы, астрономы, врачи создавали атмосферу, способствующую быстрому интеллектуальному развитию, свободе в толковании религиозного учения, преемственности культуры.

Терпимость мусульманских правителей к иудаизму я объясняю тем, что основу своей веры они заимствовали у евреев, даже некоторые изречения взяли из наших книг. Например, их словам: «Прибежище от Бога можно найти лишь у Бога» – предшествует мидраш на книгу Исхода, где сказано: «Если Господь преследует тебя, то лишь к Нему одному можешь ты прибегнуть».

Подобно Малаге, Сарагоса — старинный город, основанный римлянами ещё в конце старого летоисчисления, на реке Эбро. Место это привлекает еврейских ученых и писателей не только своими красотами, но главным образом лояльностью к инаковерующим, которую обеспечивали потомки арабских завоевателей, а именно просвещенная элитная династия Тухибов.

По сохранившимся преданиям, евреи начали селиться в Испании задолго до нового летоисчисления, ещё во время царя Соломона, когда сюда заплывали корабли его союзника, царя Тирского Хирама. Согласно тем же преданиям, ворота Храма Соломона были покрыты золотом, привезенным с Иберийского полуострова. Здесь же, на полуострове, сохранилось маленькое древнее кладбище, где покоятся иудеи времен Первого Храма, и те, что были купцами во времена римлян. Об этом свидетельствуют надписи на надгробных камнях. После разрушения Первого Храма самые образованные и знатные люди оказались или в вавилонском плену, или в Испании. Однако массовое переселение пришлось на время разрушения Второго Храма и особенно после жестокого подавления римлянами героического восстания Бар-Кохбы, то есть на первые века – на период римского владычества.

(Продолжение следует)

Александр Асманов

ИЕРУСАЛИМ

Камень бугрится в стенах, Как вены у старика, Здесь, преклонив колена, Молча стоят века, Здесь на любую фразу И даже на звук шагов Вдруг отвечает сразу Каждый из трех Богов.

Город, в котором карта сама по себе – Псалтирь, Архитектурный бартер Неба – в обмен на мир, Странный бивак душевный, Любых эмиграций даль, Где позади кошерно, А впереди – халяль.

Выйди под утро босо – Согреет ступни гранит. Древняя Долороса Святостью освежит. Рынок вернет к мирскому, Стена позовет к слезам... Связи с давнишним домом Ты обрываешь сам.

Желтое плещет небо Над серой листвой олив. Прошлую быль и небыль Жизнь обратила в миф. Трепетно иль небрежно В город войдешь – все равно – Обратно вернуться прежним Вошедшему не дано.

2014

НА ОТКРЫТИЕ ОКНА ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Вскипая под ливнем весенним, Впадает в залив река, Как черные гроздья сирени, Колышутся облака. К чертям сожаленья о прошлом, Недобром и небылом — Давайте раскроем окошко И ветром наполним дом.

Взовьется житейская нежить, Душа разорвет тишину, И выплывет Стенькой на стрежень Ловить осетра на княжну. Мы долг не исполнили разве? Как будто нас кто просил... Привет же, случайные связи, Насколько осталось сил.

Привет тебе. даже простуда, Похмелья тупая дрожь, Куда мы? – не знаем... Откуда? – А этого, брат, не трожь, От самой изысканной стервы, От самой пустых надежд... Открой-ка ты лучше консервы, Да вот колбасы нарежь.

Пространство пугает простором – Отвыкли мы от него, Отвыкли от пения хором – Все песни на одного. Но вот он – просвет меж домами, За ним бесконечна гладь, И что в ней исполнится с нами, Не стоит заранее знать.

2015

КРЕПОСТЬ В АШДОДЕ

Ашдодская волна прозрачна и легка, Как память о страстях, которые остыли, Здесь холодны шелка белесого песка И сумрачны руины крепостные.

Над этою землей нахмурился Господь И сильных ниспроверг, поставив на колени. Здесь камни напролом одолевала плоть, И ярость покоряла укрепленья.

Вражда былых племен в прорехи стен глядит, И слух с опаской ждет стрелы летящей свиста, И все еще темны торговые пути, И золото от крови маслянисто.

И жар на рубежах – все та ж война идет, И лучшей доли люд все так же в распре ищет, Но посреди лежит разрушенный Ашдод, Как уголь, остывающий в кострище.

БЕРЛИН

Унтер ден Линден ночью, при тщательном взгляде на Архитектуры разреженность, выбоины камней Остается дорогой, где тяжко прошла война... Вернее, война по-прежнему так и живет на ней.

Вот она – кликнув кельнера, кружкой стучит о стол, В темени окон плещется, сколько ни жги неон, Кажется, пепел с неба, а вовсе не снег пошел, И это не гимн рождественский, а поминальный звон.

Сколько же лет понадобится, чтобы истаял мрак, Чтоб «гутен таг» звучало без примеси «хенде хох», Чтобы Рейхстаг стал зданием – просто себе рейхстаг, Чтобы над темной кирхою в небе маячил Бог.

Нет, это все затянется. Время – бальзам для ран. Да и сейчас-то пора уже – столько ведь лет прошло... Только в памяти где-то будет сидеть цыган, С ужасом глядя в черное, как Холокост, стекло.

КРИТИКУ

От белого дня и до черного дня недолог мой путь по Руси. Не свят я, спаси и помилуй меня, и чашу сию пронеси, Я тоже грешу, как другие грешат, и праведен в меру свою, Не надо меня безрассудства лишать, бронируя номер в раю. Дотуда едва ли когда дотянусь, хоть лоб в покаяньях разбей, Мне грустно — я плачу, а весел — смеюсь, бываю нежней и грубей. Но все это, критик мой, только судьба, и птичье чириканье дня, Кто знает, куда повернется тропа, которая ранит меня? Кто знает, чем кончится этот поход с поклажей из бросовых слов? Но вряд ли я втиснусь однажды в киот, где горняя только любовь. И вряд ли я втиснусь однажды в канон, я лучше еще попою... Кто знает, не тронет ли струнный трезвон кошерную душу твою?

ВЕЧЕР В КАННАХ

Пальмы. Западный полюс. И холодок в груди: Ехидный внутренний голос смеется: конец пути?! И не то, чтобы мало вело отсюда дорог, Но все, что в мире осталось, по сути уже – Восток.

Воздух от моря синий, закаты и променад. И полон покоем сытым каждый встреченный взгляд, И собственный взгляд в витрине ползет червяком слепым По плоской земной картине, раскинувшейся за ним.

Здесь ведь нельзя родиться – можно только дойти. Здесь перелетной птице не снится яйцо снести, Забрось, как монету, память во вспененный палисад, Где волнами зелень плещет и звездочки ламп блестят.

Спроси вина в ресторане – хорошее тут вино. О всяком земном обмане подумай, что «все равно» – Когда не просил, не верил, то что тебе лживый друг? Здесь вечная нега, берег, и нет никого вокруг.

И что тебе чья-то зависть? И что тебе чья-то злость? Приязни пустая завязь и прочее «не сбылось»? Отдайся вселенской лени, гони размышленья прочь – Пусть маком течет по вене светлых забвений ночь...

...Дальше – вали отсюда. Кидай чемодан в такси. И снова – к родным простудам, к ухабам своей Руси. В полете долгом, как повесть о жизни, которой нет, Встречай свой Восточный полюс. Свой черный возвратный свет.

Марат Баскин

РАССКАЗЫ ПРИ СВЕЧАХ

БЕЙГУЛ РЕБ АРИ-ДОВИДА

Каждое утро реб Исер-Ёсел шёл в булочную к реб Ари-Довиду, чтобы купить свежий бейгул. Появлялся реб Исер-Ёсел в булочной очень рано, когда половина Краснополья ещё спала. Булочник давал реб Исеру бейгул прямо с печи: румяный, пышущий жаром и пахнущий, как спелый персик в саду Соломона. Реб Исер-Ёсел никогда не держал в руках персик и никогда не был в саду у царя Соломона, но так о бейгуле говорил его папа реб Мендл-Товье, и потому реб Исер считал это сравнение божественным!

В то утро, о котором рассказывает наша история, у булочника реб Ари-Довида было плохое настроение, что совершенно несвойственно было его жизнерадостной натуре, но он ничего не мог поделать с собой: разве можно было спокойно смотреть на приготовление к свадьбе в доме реб Мойши и знать, что торты на свадьбу заказаны не у него, реб Ари-Довида, а где-то в другом месте!? Реб Ари был глубоко обижен этим поступком реб Мойши, и ему хотелось хоть с кем-то поделиться переполнявшим его чувством несправедливости.

- Вот скажите, реб Исер, есть справедливость на этом свете или нет? – спросил он реб Исера.
- Как знать, осторожно пожал плечами реб Исер, зная не понаслышке древнюю мудрость о том, что угодив своим ответом одному, можно нажить врага в другом.
- А я вам скажу, что справедливости нет! категорически сказал реб Ари. И объясню, почему. Я жду свадьбу дочки реб Мойши целых полгода, выписываю рецепты всяких свадебных марципанов из самого Киева! Плачу за эти рецептики хорошие деньги. И что я получаю за это? Ничего! Они приглашают повара из какой-то Вильни, и плакали мои рецепты и мои денежки. Кому теперь надо мои марципаны? Такие хупы, как у Мойши в Краснополье, бывают раз в сто лет. И до следующей такой хупы, я вас уверяю, я не доживу!
- Кто знает, как всегда осторожно заметил реб Исер-Ёсел.
 Булочник задумчиво посмотрел на реб Исера, потом постучал себя по голове и сказал:
- И для чего я вам про всё это говорю? Я совсем забыл, что ваша Эстер-Двойра из мишпохи реб Мойши! И вы сегодня будете кушать халы этого мамзула из Вильни!
- Я, конечно, буду на хупе у реб Мойши, согласился реб Исер, но если вы что-то имеете сказать про эту свадьбу, то говорите. Я никому не передам, а особенно реб Мойше. И ещё я вам хочу сказать, что в мишпохе реб Мойши мы с Эстеркой как ломаный горлач в базарном ряду: с одной стороны с той же глины, а с другой давно пора выбросить. Сегодня там соберётся вся мишпоха, и нас с Эстеркой

будут учить, как жить. Вы знаете, богатые родственники всегда считают себя умными и всегда любят учить жить бедных родственников. Такая у них хвороба, как говорила моя мама. И я буду слушать и молчать. Вам интересно, почему? Я вам объясняю: если я попробую что-нибудь сказать не так, как это хочется Эстерке, она мне потом дома устроит Содом и Гоморру. Вам нужно это в доме? Мне — нет. И я молчу. Но я вам скажу ещё пару слов: жизнь — как ваш бейгул, и я в ней — дырка.

- Не говорите так, реб Исер, остановил его булочник, в жизни всякое бывает, сегодня вы дырка от бейгула, а завтра можете стать коржиком.
- Хотя бы один день побыть этим коржиком, о котором вы говорите, вздохнул реб Исер.
- Всё может быть, повторил реб Ари-Довид и добавил. Вы знаете, что в этом деле вам может помочь мой бейгул.
 - Ваш бейгул? удивился реб Исер.
- Да, как это вам ни покажется странным, сказал булочник. Мой папа реб Иммануил-Гецл мне говорил, что раз в сто лет выпекается счастливый бейгул, который может выполнить любое желание. Правда, действие этого чуда всего один день. Но, как мы с вами говорили, и один день поспать на перине неплохо, если каждый день спишь на досках.
- И вы думаете, что этот бейгул достанется мне? безнадёжно махнул рукой реб Исер. Нет! Он достанется тому же реб Мойше.
- Не говорите так, возразил булочник. Не всегда золотое зёрнышко достаётся золотому петуху. Дай Бог, и вам повезёт!
 - Дай Бог! согласился реб Исер.

На улице было холодно: снег скрипел под ногами, мороз жег щеки и горячий бейгул терял своё тепло прямо в руках реб Исера.

Пока я дойду до дома, бейгул станет совсем холодным, – подумал реб Исер. – И может, даже затвердеет от такого мороза. И Эстерка попробует его и скажет: «Нашел на что тратить деньги! Как будто они у нас лишние!» Она с утра была против покупки бейгула: кто это перед свадьбой покупает бейгул?! Умные люди вообще перед свадьбой ничего не едят! Потерпишь до вечера, и там наешься.

Но он её не послушался и пошёл за бейгулом, и теперь, не дай Бог, бейгул станет твёрдым и Эстерка не успокоится до самой свадьбы. Реб Исер представил на минуту гневное лицо Эстерки, вздрогнул и решил тут же съесть бейгул. Конечно, с молоком бейгул был бы вкуснее, но тут бабушка надвое сказала, что лучше — горячий бейгул без молока или холодный с молоком. И реб Исер поднёс бейгул ко рту. В это утро бейгул был удивительно вкусный, тепло от него расходилось по всему телу, он таял во рту как марципан.

Если бы он был бы ещё и счастливый, – размечтался реб Исер, – и на хупе я бы стоял рядом с женихом и невестой, а потом бы меня посадили на самое почётное место за столом, как реб Меера-Зисла из Быхова. Или хотя бы как реб Натана из Самоцевич.

Пока реб Исер ел бейгул, мечта была сладкая, как гомонты с маком, но с последним кусочком бейгула она растаяла, как снежинка, попавшая на сковородку. И реб Исер сам себе грустно заметил:

– Эстерка права, я – а мишугенер! Только мишугенер может поверить в сказку реб Ари. Разве такое бывает на свете? Хотя, с другой стороны, Готуню сказал: пройдут сыны Исраэйливы среди моря по суше, и они прошли.

Полный таких противоречивых мыслей, реб Исер-Ёсел едва не столкнулся с лошадью, привязанной к забору его собственного дома. Когда он разглядел лошадь, сердце его заколотилось, как у курицы, когда её несут к резнику, ибо это была не просто лошадь, а лошадь господина урядника.

– Готуню, – задрожал реб Исер, – избавь меня от напасти! Разве его благородие приезжает к бедному еврею просто так? Или жди погрома, или жди выселения, или, не дай Бог, тюрьма! Прости меня, Готуню, если я возгордился в своих мечтах! Прости и избавь!

Реб Исер осторожно открыл дверь своего дома, как будто входил не к себе домой, а в чиновное заведение. И сразу увидел урядника, сидящего на единственном имеющемся в доме стуле, который достался реб Исеру в наследство от тёти Енты. Эстерка стояла возле урядника и сияла, как свечка в шабес.

- Исерка, неожиданно для реб Исера ласково сказала она, его благородие ждёт тебя уже не знаю сколько: я успела приготовить блинцы, и мы успели их покушать. А тебя всё нет!
- Простите, ваше благородие, голос реб Исера задрожал, как у ешивабохера перед меламедом. Если бы я знал, что вы меня ждёте, я бы бежал, не останавливаясь, как наш пожарник реб Двоня-Сруел на пожар.
- И надо было бы бежать, засмеялся урядник и подкрутил правый ус. Такая новость, которую я принёс тебе, приходит в Краснополье раз в сто лет!

Потом он подкрутил левый ус, вынул из кармана бумагу и, развернув её, спросил:

- Ты ли есть Исер-Ёсел, сын Мендла-Товье?
- Я, кивнул реб Исер.
- Учился ли ты в Воложинской ешиве?
- Учился, признался, весь дрожа, реб Исер.
- Значит, ты есть тот самый, кого ищет императорская депеша, успокоенно сказал урядник и спрятал бумагу обратно в карман шинели. И дал реб Исеру-Ёселу сто рублей золотом! Таких денег в Краснополье никто за свою жизнь в глаза не видел. И, может, реб Мойше-Гивир тоже.

Через полчаса о чуде, сошедшем на реб Исера-Ёсела, говорили все краснопольские евреи. Даже в доме Мойши на какое-то время позабыли о свадьбе. А новость и вправду была невероятная: увидел Григорий Распутин видение: Россию в крови и пожарищах и самого императора убиенного! И увидел он, что избавление от бед сих может принести реб Исер-Ёсел, сын реб Мендла-Товье, ешибохер Во-

ложинской ешивы. Чтобы отвести напасти от Его Величества, должен будет реб Исер-Ёсел семь дней молиться рядом с императором, самодержцем всея Руси! И прислал Распутин реб Исеру деньги большие и велел ждать, когда закончат строить синагогу в Царском Селе. Негоже за такое дело молится в простой синагоге!

- Исерка, сказала Эстер, когда уехал урядник, за такими большими разговорами я забыла, что ты не завтракал. Сейчас я испеку тебе твои любимые блинцы с творогом, что нам дала тётя Хаша.
- Что ты говоришь? замахал руками реб Исер. Ты же сама сказала, что перед хупой не надо кушать, там на неделю наедимся!
- Исерка, прости меня. Их бин а мишугене, я сумасшедшая, поэтому и сказала. Что мы, шлэпары, нищие какие-то, чтобы наедаться на свадьбе? – впервые в жизни Эстер назвала себя мишугеной вместо того, чтобы назвать реб Исера шлеймазулом.

Как сказано в Торе: и однажды ты проснёшься и не узнаешь мир вокруг себя...

За день в доме реб Исера побывали все краснопольские евреи, и даже сам ребе вёл с реб Исером беседу, как с Виленским Гаоном.

- Реб Исер, сказал он, тебе выпало святое дело: защитить наш народ перед императором, как когда-то Иосифу перед фараоном.
 Будущие амораим прославят твоё имя.
- Может, наконец, закончатся погромы, и еврейские дети не будут знать, что обозначает это слово, сказал реб Арон-Симон, который бежал от погромов из Одессы в Кишинев, потом из Кишинева в Свидригайловку, а оттуда в Краснополье.
- Исер, сказал реб Мойша, тебя император должен послушать. Ты ему должен сказать, что если он хочет, чтобы в России был порядок, то порядочных людей ему надо искать только в нашем роду. Напомни ему, что реб Мойша поставлял овёс в его ставку в Могилёве, и это был не овёс, а цымус!
- Реб Исер-Ёсел, сказал реб Двоня-Сруел, я слышал, что шёл разговор о пожарах. Так ты знаешь, как я тушил дом реб Целебиндера. И если императору нужен хороший пожарник, пусть позовёт меня!

В этот день в Краснополье не было доктора реб Каца, он уехал к хаверу в Могилёв, и вместо него к реб Исеру пришла его жена Хана-Цырул:

– Реб Исер, – сказала она, – вы знаете, что мой Семён вам никогда не отказывал в помощи, даже если у вас не было денег. Вы помните, когда у вас на ноге была водянка и вы не могли ходить даже в синагогу, Семён вас спас. Так что вы скажите Его Величеству, если ему нужен хороший доктор, то долго искать не надо: это господин Кац.

Целый день реб Исер-Ёсел чувствовал себя на седьмом небе, но вершиной счастья стала хупа. Реб Исера-Ёсела посадили рядом с женихом, а ребе упомянул его имя рядом с именем пророка Элии.

А когда молодых одаривали деньгами, реб Исер-Ёсел дал денег больше всех: сто рублей! Если бы у него было больше денег, он дал

бы и больше: ведь это был реб Исер, который знал, что такое быть бедным, и совсем не знал, что такое быть богатым!

 – А-ах-ах! – прошелестело по рядам гостей, и докатилась до ушей реб Исера волна восторга...

Впервые за свою жизнь реб Исер уснул в эту ночь спокойным сном праведника. И впервые Эстерка пожелала ему спокойной ночи, как и положено еврейской жене.

... А в это время билось о лёд Невы могучее тело Григория Распутина и кончалось волшебство бейгула реб Ари-Довида.

МЕЛАМЕД ИЗ ПРОПОЙСКА

Памяти дедушки Анзельма

Эту историю я слышал от дедушки, и рассказывая её, он уверял меня, что слышал всё это от самого реб Хаима и что всё это правда. В подтверждение правдивости своих слов он говорил:

– Если бы я всё это придумал, то для чего мне надо было всю эту историю приписывать какому-то Хаиму из Пропойска, а не реб Товье из Краснополья?

История эта произошла в первые годы после революции, когда революционная волна уже докатилась до Краснополья, но ещё не устроила там всемирный потоп, и Краснополье жило уже с новыми новостями, но ещё по старым обычаям. Реб Хаим, бывший меламед краснополького хедера, а к началу нашего рассказа — учитель еврейской школы, имел маленькую слабость: он любил выпить стаканчик вина.

 Фрида, – каждый вечер говорил он жене, – я пойду, прогуляюсь, подышу свежим воздухом.

И дышал свежим воздухом в шинке у реб Лейзера.

В этом шинке у реб Хаима было любимое место у окна, недалеко от стойки, за которой стоял реб Лейзер, и это соседство позволяло реб Хаиму перекидываться с реб Лейзером умными словами.

В тот вечер, о котором рассказывает наша история, в шинке народу было как никогда много: это был кирмашный день, и свободных столов не было. Реб Лейзер виновато развёл руками и предложил реб Хаиму сесть рядом с незнакомым молодым человеком в расшитой узорами ермолке.

Надо вам сказать, что незнакомые молодые люди в ермолках в Краснополье появлялись очень редко, особенно после революции, и поэтому вынужденное соседство с бохером удивило реб Хаима и одновремённо обрадовало, так как у реб Хаима на шее висела большая проблема: четыре дочки, и все на выданье, а на примете ни одного жениха!

Получив свой стаканчик вина, реб Хаим прочитал молитву о ежедневном пропитании, пригубил вино и сказал, обращаясь к молодому человеку:

 Извините, конечно, за вопрос, но у меня, как и у каждого еврея, есть одна слабость – любопытство. Мне интересно знать, откуда вы приехали? У меня плохая память на лица, но я, кажется, знал вашего папу. Это случайно не реб Шмуел -Зорах из Пропойска?

- Вы почти угадали, ответил молодой человек. Я таки из Пропойска. Только мой папа не реб Шмуел-Зорах, а реб Шахне-Лейбуш.
- Что вы говорите, молодой человек? реб Хаим удивлённо посмотрел на молодого человека и погрозил пальцем. Я понимаю, вы шутите? В Пропойске есть только один реб Шахне-Лейбуш, и это мой папа, да будут благословенны его годы!
- Да будут благословенны! согласился молодой человек. Но я совсем не шучу, и реб Шахне-Лейбуш мой папа.
- А кто же тогда ваша мама? спросил реб Хаим и покосился на вино: слава Богу, стакан ещё был полный, и значит он, реб Хаим-Пинтус, в здравом уме.
- Хаша-Сора, сказал молодой человек и добавил: Она дочка реб Иосифа-Сендера из Быхова.
 - Моя мама! воскликнул реб Хаим.
- А вы думали, не ваша? молодой человек с укоризной посмотрел на реб Хаима.
- А кто тогда вы? спросил реб Хаим и вытер внезапно выступивший на лбу пот.
- Я Хаим-Пинтус, сказал молодой человек, сын реб Шахне-Лейбуша.
- Я Хаим-Пинтус, не сойти мне с этого места, сказал реб Хаим и стал протирать глаза: не приснилось ли ему всё это.
- Правильно, сказал молодой человек. Я Хаим-Пинтус, и вы
 Хаим-Пинтус.
- Реб Лейзер, закричал на весь шинок реб Хаим, скажи мне, пожалуйста, я сплю или нет?
- Когда это было, чтобы ты засыпал от одного стаканчика сливовицы, отозвался реб Лейзер и добавил: Фрида дала тебе рубль на второй стаканчик или будешь брать в долг?
- На сегодня хватит одного, ответил реб Хаим, и посмотрев внимательно на молодого человека, удивлённо заметил: – А вы таки похожи на меня. У вас тоже правый глаз немного косит, как у вашей мамы.
 - У нашей мамы, уточнил бохер.
- Хорошо, у нашей, согласился реб Хаим и тут же спросил: Вы хотите сказать, что мы близнецы?
- Нет, замахал руками молодой человек, кто вам сказал, что мы близнецы?
 - А кто мы тогда? спросил реб Хаим.
- Я даже не знаю, как вам всё это объяснить, сказал молодой человек, – но я – это вы лет так сорок тому назад.
- Ничего не понимаю, сказал реб Хаим и начал щипать себя за щеку, надеясь проснутся.
- Не волнуйтесь, вы не спите, понял его движение молодой человек. Но я это вы! Вы, надеюсь, помните год, когда вы окончили Воложинскую ешиву?

- Помню, сказал реб Хаим и вздохнул, вейзмир, как это было давно!
- Так вот я из этого давно, воскликнул молодой человек. И вот как раз тогда в ешиву пришло два письма: одно от реб Зевина из Краснополья и другое от реб Лоева из Софиевки. Я думаю, вы помните, что в них было написано?
- Ну, конечно, я помню, воскликнул реб Хаим. Обоим приспичило заиметь домашнего учителя для своих детей, и они попросили нашего уважаемого ребе прислать им достойного выпускника нашей ешивы.
- И наш ребе Шимон-Мордхе позвал меня и сказал, что более достойного бохера он не видит в нашей ешиве! сказал молодой человек и вопросительно посмотрел на реб Хаима.
- И я сказал, что поеду в Краснополье к реб Зевину, сказал реб Хаим.
 - Почему? спросил молодой человек.

Реб Хаим вздрогнул, вздохнул и придвинул поближе к себе ещё не выпитый стаканчик вина.

- Я скажу вам, молодой человек, всё как есть. Потому что Краснополье ближе к нашему Пропойску, чем какая-то Софиевка!
- Но ближе это ещё не значит, что лучше, заметил молодой человек.
- Оно-то, конечно, согласился реб Хаим и тут же спросил, но кто скажет вам, где лучше?
- Вот так мне и ответил ребе, когда я его попросил дать мне совет. Он сказал ещё больше: «Хаим, я не такой мудрый, чтобы знать, куда тебя заведёт дорога, которую ты сегодня выберешь! Вся наша жизнь это сплошные повороты, и каждый должен выбирать сам, куда ему повернуть. Но я тебе скажу, как однажды мне на такой же вопрос ответил Виленский Гаон. Он сказал: утро мудрее вечера иди и поспи! И я тебе говорю то же самое». И я пошёл спать. И как только заснул, оказался здесь!
- Я так и думал, что это всё сон, сказал реб Хаим и дернул себя за бороду. Но не проснулся.
- Может быть, и сон, согласился молодой человек, но даже если мы встретились во сне, вы уже прошли этот развилку, а я ещё нет! И, надеюсь, вы мне можете сказать, уважаемый реб, что меня ждёт впереди?

Реб Хаим посмотрел по сторонам, надеясь увидеть в шинке знакомое лицо, но кроме реб Лейзера его взляд ни на ком не остановился, а у реб Лейзера он уже спрашивал – и по поводу молодого человека, и по поводу сна, и поэтому он тяжело вздохнул и сказал:

– Хорошо, пусть всё это сон, но раз мы уже встретились, я вам так и быть скажу, что вас ждёт впереди. И я вам ещё скажу, это вас ждёт, куда бы вы ни пошли! Потому что это сейчас повсюду! И в Краснополье, и в Софиевке! И даже в Петрограде! И я вам сейчас скажу, как это называется.

- Как? спросил молодой человек и начал нервно покручивать пейсы.
- Это называется довольно таки сложно РЕВОЛЮЦИЯ! Но я вам объясню просто: сбросили царя, и теперь будут сбрасывать кого захотят! И куда захотят!
- Готуню! воскликнул молодой человек, и с тревогой посмотрев на реб Хаима, спросил: – Но вас, я надеюсь, они, слава Богу, не тронули?
- Слава Богу, пока нет, и я надеюсь, и дальше, сказал реб Хаим и добавил, – и я вам скажу, почему. Потому что я тогда выбрал вполне приличную дорогу. Вы знаете, сынок реб Зевина Яшенька, которого я учил, стал у НИХ большим человеком – комиссаром! И я теперь спокоен: я думаю, что учителя комиссара они не тронут. А кто знает, что бы было, если бы я поехал в Софиевку? Правда, я вам скажу как ближайшему родственнику, Иоськареволюционер, сын Енты-Добы, говорит, что я со своей Торой – элемент, чуждый ихней революции! И должен перевоспитываться! Но я вам скажу, - реб Хаим заговорщицки подмигнул и прошептал. – хоть Иоська здесь и большой человек, но до Якова ему как мне до ребе! Иоська мне сам говорил, что ихний самый главный жал Яше руку и подарил ему револьвер! И Иоська знает, что если я пожалуюсь на него Яше, то он будет иметь вырванные годы, реб Хаим хотел сказать молодому человеку ещё несколько ободряющих слов, но замолк, увидев входящего в шинок Иоську.
- Документы! произнёс Иоська, и реб Хаим от страха зажмурил глаза, представляя, что за история сейчас произойдёт с молодым человеком, у которого, конечно, документов нет.

Закрытыми глаза реб Хаим держал какую-то секунду, ибо буквально через мгновение он услышал прямо возле себя Иоськин ещё не прорезавшийся басок:

 Что-то вы, дядя Хаим, заснули, не допив вино? Вас уже дома заждалась тётя Фрида!

Реб Хаим вздрогнул и открыл глаза. Напротив него никакого молодого человека не было.

– Вот так закончился сон реб Хаима, – заканчивал эту историю дедушка и добавлял: – Кстати, Яша Зевин и вправду был комиссаром, можешь это прочитать в энциклопедии. Одним из 26-ти бакинских комиссаров! Реб Хаим о нём рассказывал на каждом перекрёстке, не забывая уточнять, что был его домашним учителем, и его, в конце концов, арестовали за поклёп на героя революции. Где это видано, чтобы герой революции учился у какого-то меламеда? Такая история реб Хаима. Но я тебе скажу ещё кое-что. Реб Лоев не дождался ешивобохера из Воложина и взял учителем к своей Олечке бохера из Переяслава. И звали этого бохера Шолом Рабинович. И этот бохер имел шейхул, он женился на своей ученице и стал Шолом-Алейхемом! И теперь подумай, что бы было, если бы в Софиевку поехал реб Хаим?

Александр Бирштейн

БОЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ

А давайте-ка, друзья-читатели, друг другу вопросы задавать! Или загадки. Как у кого получится. Только я первый, ладно? Такой вот у меня вопрос имеется:

– Почему это Валентин Катаев назвал свою повесть именно так:
 «Белеет парус одинокий»? Почему именно эти лермонтовские строки его привлекли?

Видите, я даже не спрашиваю – любите ли вы эту повесть?

Читали ли ее? Уверен, что да! Итак? Времени, вроде, прошло прилично, а ответа я не дождался. Стесняетесь? Тогда попробую сам. Но учтите, это не более чем версия.

Что такое белый парус в море? О, это свобода, это романтика, это простор и соленый ветер. Но! Парус-то у нас одинокий! Он один, единичен, одинок, он единственный, наконец. Как глоток свободы...

Теперь давайте вспомним, когда написана повесть. 1936 год. Иллюзий давно не осталось. Тем более после поездки на канал. Кто-то из коллег арестован, кто-то, как добрый и талантливейший Осип Мандельштам, сослан. Так что надо было написать, причем срочно, что-то революционное. Вдруг да поспоспешествует. А родной город предоставляет для этого широкие возможности.

Броненосец «Потемкин», революция 1905 года...

Все это Одесса! Чего лучше! Опять же, можно взять эпизоды из собственного детства. Так Валя Катаев стал Петей Бачеем, а Женя Катаев (Петров) – Павликом.

– А Гаврик? – дорвётесь и вы до вопроса.

Отвечаю:

– Гаврик – это имя, произведенное автором из другого, близкого по звучанию. С легкой руки – или не очень легкой! – Виктора Гюго теперь каждая революция обзаводится своим Гаврошем. Гаврик... Гаврош...

Похоже, правда? Смею предположить, что Гаврика ждала судьба, аналогичная судьбе Гавроша. Но... Рано или поздно герои наши любимые становятся сильнее нас, и...

Убил Катаев все-таки парочку большевиков – с удовольствием? – и дедушку Гаврика, и Терентия. Принес, так сказать, жертву.

Но я забежал вперед.

А сейчас вернусь к себе шестилетнему. Именно тогда попала мне в руки эта книжка. О, я всерьез готовился стать пионером и книги о революции глотал только так. А тут и революция, и любимая Одесса! Не книга – сокровище!

Гости из Украины

Я был мал тогда и, конечно, не заметил, что автор, процитировав первую строфу стихотворения М.Ю. Лермонтова, тут же, буквально через абзац, употребил эпитет «одинокий» по отношению к «Потемкину».

«На всем же остальном своем громадном пространстве море светилось такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить:

Белеет парус одинокий В тумане моря голубом...

...Несколько раз, таинственный и одинокий, появлялся мятежный броненосец на горизонте в виду бессарабских берегов...». Да и как-то унизительно сам броненосец показан: «...шла назад из Констанцы в Севастополь черноморская эскадра, таща на буксире, как на аркане, схваченного мятежника».

А тогда...

Скучновато все начиналось. Мальчик Петя Бачей, возвращаясь в Одессу из-под Аккермана, где летом жил на даче, становится свидетелем того, как множество солдат, жандармов, полицейских и даже один специально обученный сыщик ловят матроса с броненосца «Потемкин».

Правда, портрет этого матроса, даваемый Катаевым, не очень убеждает в необходимости таких поисков. Судите сами: «...Это был коренастый человек с молодым, бледным от испуга лицом и карими не то веселыми, не то насмерть испуганными глазами...». Грозная сила, правда? Это еще что? В конце повести автор дает другой портрет Родиона Жукова, а это о нем идет речь. Я приведу его, в свое время, так же, как и портреты других большевиков. И вы поймете, как любил Катаев этих своих героев.

Но мальчик Петя приезжает в Одессу. К себе домой, на Канатную угол Куликова поля.

Естественно, в Одессу переносится и действие повести. И сразу читать становится необыкновенно интересно! Потому что Люстдорф, Дача Ковалевского, Фонтан, Аркадия, Отрада, Ланжерон...

«...Большой Фонтан, Средний Фонтан, Малый Фонтан, высокие обрывистые берега, поросшие дерезой, шиповником, сиренью, боярышником. В воде под берегом — скалы, до половины зеленые от тины, и на этих скалах — рыболовы с бамбуковыми удочками и купальщики. А вот и "Аркадия", ресторан на сваях, раковина для оркестра — издали маленькая, не больше суфлерской будки, — разноцветные зонтики, скатерти, по которым бежит свежий ветер.

Все эти подробности возникали перед глазами мальчика, одна другой свежее, одна другой интереснее. Но они не были забыты. Нет! Их ни за что нельзя было забыть, как нельзя было забыть свое имя».

Потому что Потемкинская (в будущем!) лестница, Дюк, Куликово поле, Привоз, Канатная, Вокзал, Ближние мельницы, Ришельевская, Екатерининская...

Потому что...

Да что там – главным героем книги становится дивный город, в котором живут эти замечательные Петя и Гаврик, город, наименее подверженный сословным различием, питающий и вдохновляющий дружбу двух мальчишек. А революция? Фон, мрачный, неприятный фон.

Судите сами.

«Несколько человек, среди которых Петя узнал высокую, страшно худую фигуру Синичкина, припав к подоконвинам высаженных окон, часто стреляли вниз из револьверов. Петя увидел перевязанную голову Терентия и барашковый воротник матроса. Мелькали еще какая-то черная косматая бурка и студенческая фуражка. И все это плыло и тонуло в синеватых волокнах дыма. Матрос стоял на одном колене у подоконника, на котором лежала стальная тумбочка, и поминутно высовывал наружу дергающуюся от выстрела руку. Он кричал бешеным голосом:

- Огонь! Огонь! Огонь!

И среди всего этого движения, беспорядка, суеты, дыма лишь один человек с желтым, равнодушным, восковым лицом и черной дыркой над закрытым глазом был совершенно спокоен. Он неудобно лежал поперек комнаты, лицом вверх, на полу, среди пустых обойм и гильз».

Справедливости ради надобно сказать, что правители и те, кто с ними рядом, давали основания для ненависти и сопротивления:

«— Иду по Французскому бульвару и глазам своим не верю. Великолепнейший выезд, рысаки в серых яблоках, ландо, на козлах кучер-солдат в белых перчатках, шум, гром, блеск... Две дамы в белых косынках с красными крестами, в бархатных собольих ротондах, на пальцах вот такие брильянты, лорнеты, брови намазаны, глаза блестят от белладонны, и напротив два шикарных адъютанта с зеркальными саблями, с папиросами в белых зубах. Хохот, веселье... И, как бы вы думали, кто? Мадам Каульбарс с дочерью и поклонниками катит в Аркадию, в то время когда Россия буквально истекает кровью и слезами! Ну, что вы скажете? Нет, вы только подумайте — вот такие брильянты! А, позвольте спросить, откуда? Наворовали, награбили, набили карманы...»

Кстати, если заметили, мало что изменилось. Все те же семьи высших чинов, все тот же Французский бульвар...

Разве что вместо конных выездов престижные иномарки.

И еще.

Катаев впервые в советской и, наверное, в мировой литературе, в разгар ежовщины, между прочим, показал еврейский погром

во всей его мерзости, жестокости и беспощадности. Мне возразят, что о погромах писали И. Бабель, И. Уткин, К. Паустовский.

Да, конечно.

Но они только упоминали, а Катаев описал погром подробно и беспощадно:

«Из толпы выбежала большая, усатая, накрест перевязанная двумя платками женщина с багрово-синими щеками. Ее выпуклые черные глаза цвета винограда "изабелла" были люто и решительно устремлены на окна.

А, жидовские морды! – закричала она пронзительным, привозным голосом. – Попрятались? Ничего, мы вас сейчас найдем!
 Православные люди, выставляйте иконы!

С этими словами она подобрала спереди юбку и решительно перебежала улицу, выбрав на ходу большой голыш из кучи, приготовленной для ремонта мостовой. Следом за ней из толпы вышло человек двадцать чубатых длинноруких молодцов с трехцветными бантиками на пальто и поддевках. Они не торопясь один за другим перешли улицу мимо кучи камчей, и каждый, проходя, наклонялся глубоко и проворно. Когда прошёл последний, на месте кучи оказалась совершенно гладкая земля. Наступила мертвая тишина. Теперь часы уже не щелкали, а стреляли, и в окнах были вставлены черные стекла.

...Тишина продолжалась еще одно невыносимое мгновение и рухнула. Где-то внизу бацнул в стекло первый камень. И тогда шквал обрушился на дом. На тротуар полетели стекла. ... Вся озверевшая толпа со свистом и гиканьем окружила дом. Портрет в золотой раме с коронкой косо поднимался то здесь, то там. Казалось, что офицер в эполетах и голубой ленте через плечо, окруженный хоругвями, все время встает на цыпочки, желая заглянуть через головы».

Тоже, кстати, революционный фон.

Более того, Катаев глазами своего прототипа Пети показал и отношение к этому мерзкому явлению:

«Несколько дней после этого тротуар возле дома был усеян камнями, битым стеклом, обломками ящиков, растертыми шариками синьки, рисом, тряпками и всевозможной домашней рухлядью. На полянке, в кустах, можно было вдруг найти альбом с фотографиями, бамбуковую этажерку, лампу или утюг. Прохожие тщательно обходили эти обломки, как будто одно прикосновение к ним могло сделать человека причастным к погрому и запятнать на всю жизнь».

Конечно, Валентин Катаев — мастер. Ну, написал бы он, что ему, мягко говоря, не совсем нравится Терентий. Так зарубили бы рукопись еще на стадии первой редактуры в Гослите. А Катаев просто дает портрет Терентия: «Выражение его сконфуженного конопатого лица, покрытого мельчайшими капельками пота, со-

всем не соответствовало атлетической фигуре. Насколько фигура была сильной и даже как бы грозной, настолько лицо казалось добродушным, почти бабьим».

Хорош инсургент с бабьим лицом. Бр-р...

А сама революция как показана? Сожженные суда и эстакада в порту. Кто их пожёг? А пожёг пьяный революционный народ.

«И вдруг Петя увидел торчащие из зеркальной воды трубу и две мачты. Они проплыли совсем близко от борта, черные, страшные, мертвые... Пассажиры, столпившиеся у борта, ахнули.

- Потопили пароход, сказал кто-то тихо.
- Кто же потопил? хотел спросить мальчик, чувствуя ужас. Но тут же увидел еще более жуткое: железный скелет сгоревшего парохода, прислоненный к обуглившемуся причалу
 - Сожгли, еще тише сказал тот же голос.
- ...Но когда на железнодорожном переезде мальчик вдруг увидел сожженную дотла эстакаду, горы обугленных шпал, петли рельсов, повисших в воздухе, колеса опрокинутых вагонов, весь этот неподвижный хаос, он закричал, захлебываясь:
 - Ой, что это? Посмотрите! Послушайте, извозчик, что это?
- Пожгли, сказал извозчик таинственно и закачал головой в твердой касторовой шляпе, не то осуждая, не то одобряя...».

И ещё, смотрите: царь даровал народу Конституцию. Пусть несовершенную, пусть половинчатую, но Конституцию! И... Вооруженное восстание. То есть какие-то люди, с Жуковым и Терентием во главе, из окна какой-то квартиры стреляют по солдатам. Возможно, даже по тем солдатам, которые кормили хлебом и кашей голодного Гаврика. Это еще что? Патроны для этой стрельбы носят им девятилетний Гаврик и восьмилетний Петя. Очень нравственные революционеры. Правда?

И ребята – герои.

Только с точки зрения какой же это морали? А потемкинецматрос-большевие Жуков? Это тот, кто кинул бомбу в пристава. Прямо на улице. А сколько невинных людей пострадало при этом?

Катаев дает еще один портрет Жукова. Я долго, издевательски смеялся, прочтя это:

«Мало того, что на нем были кремовые брюки, зеленые носки и ослепительно белые парусиновые туфли.

Мало того, что из кармана синего пиджака высовывался алый шелковый платок и в галстуке рисунка "павлиний глаз" сверкала сапфировая подковка.

Мало того, что на груди коробком стояла крахмальная манишка, а щеки подпирал высокий крахмальный воротник с углами, отогнутыми, как у визитной карточки. Наконец, мало того, что твердая соломенная шляпа "канотье" с полосатой лентой франтовски сидела на затылке...»

Гости из Украины

Вот и спрашивается: стоит ли спасение этого человека стольких жизней?

Дедушка Гаврика, например.

А ведь при побеге Жукова из тюрьмы тоже жертвы были...

Боже, что творили эти Жуковы победившей революции!

Я не раз и не два читал, что настоящий Катаев начался с «Травы забвенья», «Святого колодца», «Волшебного рога...».

Нетушки!

Настоящий Катаев был всегда!

И в «Сыне полка», и во «Время, вперед!».

Настоящий Катаев дал дорогу, привел к нам Аксенова и Гладилина, Евтушенко и Ахмадулину, Вознесенского и Окуджаву, и... очень многих из тех, кто и сейчас гордость русской литературы.

Настоящий Катаев подарил нам замечательную книгу о дивном городе, о бескрайнем море, о людях, оставшихся людьми, несмотря ни на что. И о дружбе – детской, крепкой и настоящей.

Светлана Василенко

КРОТКИЙ

Сегодня утром пошла за хлебом в ближайший магазинчиккиоск, который у нас называют по имени продавца – «У Эдика».

Купила хлеб, купила арбуз и хотела уже уходить, как в киоск зашла тетя Тося. Ее маленький дом стоит рядом с магазинчиком, и мы иногда с мамой к ней заходим, что называется, перевести дух. И она всегда нас принимает с такой радостью, что стыдно становится, что так редко заходим мы к ней.

А сегодня она была в черной косынке, бросилась ко мне: «Света, у меня несчастье!» И боится сказать. Я спрашиваю: «Какое несчастье, тетя Тося?» Она говорит: «А ты не слышала? Мой Саша умер. В субботу похоронили». Тут я понимаю, что несчастье огромное: Саша — ее единственный сын. Тихий, добрый, кроткий. Мой ровесник. В детстве вместе играли в казаки-разбойники, потом всю жизнь здоровались.

Помню его уже взрослым: высоким, нескладным, белобрысым, в форме прапорщика. Выходит из дома матери с двумя своими дочками. Они с белыми огромными бантами на голове, чему-то смеются, и он такой счастливый папа!

Тетя Тося рассказала, что Саша отслужил прапорщиком и мог бы жить с семьей — женой, двумя дочками и двумя внуками на военную пенсию, но денег не хватало. Пошел на биржу труда. Там предложили поработать подсобным рабочим в городском бассейне. Пошел туда. Хотя год назад у него был инфаркт, и его возили в Астрахань, делали шунтирование. Ему бы сторожем где-нибудь в тихом месте, а он — в рабочие, на шесть тысяч рублей в месяц.

Проработал год, пошел в отпуск. Вдруг звонят с работы, вызывают из отпуска. Оказывается, ураганом сломало ветку на дереве, она дорогу к бассейну перекрыла. И к нему: мол, распилить то дерево надо. Никому ни слова не сказав, что был инфаркт, что шунтирование, что тяжести ему нельзя таскать, взял у матери бензопилу (от умершего отца осталась), пошел пилить.

Залез на лестницу, та покачнулась, он и упал с нее. Повредил ногу. Повезли в больницу делать рентген ноги: подозрение было на перелом. Но обошлось. Пришел домой, сел в кресло. Смотрел телевизор, жена рядом. Позвонил дочери, чтобы купила две пачки сигарет. Вдруг голову откинул и умер. Второй инфаркт.

Очень многие мои друзья детства с нашей улицы, мои ровесники, с которыми я когда-то играла в казаки-разбойники, еще совсем не старые, уже умерли: Света, Лена, Нина, Валера, Надя, Алёша, и вот теперь — Саша...

Долго стояли с тетей Тосей. Потом я пошла, оглянулась, она уже к другой женщине у магазина подошла: «Не слышала? Мой Саша умер...»

ЛЁШКА

Сегодня приходил Лёшка. Он помогает мне в саду. Его в городке называют Лешка-дурачок. Мать его умерла от детской болезни скарлатины, когда Лешке было восемь лет. Она работала в столовой, и Лешка до сих пор помнит вкус маминого пирожного «корзиночка» (песочное с кремом в виде цветка, если кто не знает). Раньше они жили в городе на нашей улице. Потом дом продали и переехали в село, которое расположено с городом впритык. Живет Лешка со старым отцом, у которого кличка почему-то Журналист, старшим братом Сережей и его женой Любой. Есть еще сестра Таня. Лешка нигде не учился, шепелявит, картавит. Но любит рассказывать. Я его то и дело переспрашиваю, потому что половины слов не понимаю. Он терпеливо повторяет, пока я не догадаюсь. Пока обедали, он успел рассказать обо всей своей большой и нескладной семье.

Отец болеет, почти не встает, ослеп. Любит выпить. Лешка покупает ему папиросы и пиво.

Брат Серега сейчас пьет, он дерется, когда пьяный, бьет и жену, и Лешку, и довольно сильно, несколько раз попадал в милицию. Поэтому его жена Люба ушла на время к другому, работает в столовой на военной площадке. Их общая дочь Настя учится в шестом классе. Она из всей семьи — умница, красавица и добрая. Кормит Лешку, который приходится ей дядей. Они дружат.

Старшая дочь Любы (Серега не отец ей) – Инна – вышла замуж здесь же в селе за «корсака» (так здесь называют всех нерусских: казахов. калмыков, азербайджанцев, евреев, чечен, армян). От «корсака» (по описанию – казаха) Инна родила сына, который похож на «корсака». Сначала «корсак» был хороший, работал, любил Инку, потом тоже научился пить и бьет жену. Та иногда, забрав сына, прибегает к матери, живет дня три, потом возвращается домой к мужу, видимо, тогда, когда тот протрезвеет.

Сегодня Лешка был в гостях у сестры Тани. Таня тоже раньше жила с «корсаком» в степном совхозе. Там страшно, зимой за Лешкой увязались настоящие степные волки, еле спасся. Потом «корсак» страшно избил Таню, и она ушла от него к другому. Этот русский, но у него нет половины лица — он погорелец, сгорела половина его дома и половина его лица. Живут они с Таней в той половине дома. которая осталась от пожара. Пьют оба. Таню когда-то лишили из-за пьянства родительских прав, и ее единственная дочка Катя жила до последнего года в астраханском детдоме. Прошлым летом она вместе с подружкой убежала из детдома. Их нашли в поезде «Астрахань — Волгоград». Они ехали «домой к маме». Ни Таня, ни Серега, никто из этой большой и по своему дружной семьи ни разу не был в детдоме. Якобы не было на поездку денег. Долгое время ни Серега, ни Люба не работали, не было ра-

боты ни в городе, ни в селе. Вот только недавно нашли работу: Серега кроет крыши, Люба — в столовке. А раньше жили на пенсию отца и Лешкину пенсию — инвалида детства. Но родные люди ждали взросления Кати и ее приезда в родной город с воодушевлением. Планы были у Тани: что ее дочь получит квартиру и поселит спившуюся мать у себя. Но мечты не сбылись: этим летом Катю удочерила какая-то чужая семья, и им даже не говорят ее адрес. Они потеряли Катю.

Лешка помог мне убрать упавшие от урагана ветки и побежал домой: папка, наверное, уже извелся без папирос. Да еще завтра рано утром они едут с Серегой в степь собирать помидоры. Там расплачиваются за работу помидорами: за день – два ведра.

А я помню эту семью, когда она только переехала на нашу улицу. Их всегда энергичная, веселая и доброжелательная мать, вечно спешащая на работу. Рядом с ней шестилетний, кудрявый, нарядно одетый Лешка, Таня, примерная ученица, всегда в наглаженном белом фартуке. Помню умного, мастера на все руки, их отца — дядю Сашу, Журналиста. Серега и тогда был трудным подростком: мать на него жаловалась. Но был он любознательным и трудолюбивым, любил технику. Из всей семьи только Лешкадурачок стал человеком. Он не пьет и не курит. Он постоянно работает. Он заботится о своей семье. Он любит их.

Вот такая история. Вот такие помидоры.

СМЕРЧ

Летом пошли с мужем и собакой на речку Ахтубу. Шли пять километров степью по самой жаре. Подошли к реке, а там коровы пасутся, видимо, на водопой пришли. Мы отошли в сторонку, искупались. А когда вышли из реки, как-то вдруг сразу среди белого дня потемнело. Я было расположилась на берегу — полежать на еще не остывшем песке. а муж говорит: «Вставай, пойдем домой!» — «Так ведь только пришли!» — «Не видишь? Гроза собирается!» А мне, понятное дело, идти не хочется. И вот на востоке я углядела вдалеке какое-то яркое свечение: «Да вон же, тучи расходятся — уже и солнце проглядывает!», — показала мужу рукой на светлое пятно. Но он уперся: «Искупались же! Пойдем!» С неудовольствием начала собирать я свои пожитки и посмотрела еще раз туда, где увидела свечение сквозь тучи. Смотрю, свечение ярче и ярче, ближе и ближе. И так быстро к нам приближается...

Вдруг замычали коровы вокруг нас и, задрав хвосты, в панике ломанулись к лесополосе, подальше от берега. Наша собака, виновато оглядываясь на нас, побежала вслед за стадом. И тут только и я, и муж поняли, что на нас надвигается огромный, до самого неба сияющий, как дракон, смерч.

Гости из России

Он двигался на нас со скоростью локомотива. Зачарованные, ощущая себя застрявшими на железнодорожном переезде, мы никак не могли сдвинуться. Наконец муж схватил меня за руку и силой потащил от берега. Ноги застревали в песке, и мы, словно бы во сне, казалось, бежали на одном месте.

Но вот выбежали на твердую глинистую дорогу и уже вместе с бегущими коровами, бродячими собаками, с летящими над нашими головами и кричащими речными чайками бросились к лесу. И уже оттуда, еще не отдышавшись, смотрели, как прошел по тому месту, где мы только что загорали, смерч, вкручивая и всасывая в себя, словно землеройная машина, желтый песок (вот что светилось так издалека!), пластиковые бутылки, бумажный мусор, мою красную косынку, которую я не успела взять, убегая, поднимая вверх и бросая оземь деревянную лодку и разбивая ее вдрызг на мелкие доски и щепки, вырывая и унося с собой прибрежные кусты с корнем.

Мы даже ощутили на своем лице горячее бешеное дыхание смерча, он промчался совсем рядом, словно незрячий, ищущий нас безумец. Он даже в досаде швырнул в наши глаза горсти песка, и мы на минуту ослепли.

Мы сидели с мужем, спрятавшись под кустом, обнявшись и не шевелясь, как дети, словно мы с ним сестра Алёнушка и братец Иванушка.

И страшное пронеслось мимо.

ТЁТЯ ГАЛЯ Три рассказа

БАНЯ

Поехали мы как-то с тетей Галей, нашей соседкой по улице, в городскую баню. В баню мы с ней ездим на такси. Туда 50 рублей платит – она, обратно – я, так вот экономим.

Приехали, а баня не работает. Хотя и не закрыта. «В чем дело?» – спрашивает тетя Галя кассиршу. Та отвечает, что прохудился огромный бак на пять тонн горячей воды. Вот только сейчас починили и холодную воду залили. Когда вода нагреется, тогда и начнут людей в баню пускать, но никак не раньше, чем через полтора часа. «А пар есть?» – спрашивает тетя Галя. «Есть», – отвечает кассирша. «Парилка работает?» – спрашивает тетя Галя. «Работает», – отвечает кассирша. «Ну, тогда пропусти нас в баню сейчас! Мы в парилке купаться будем!» – говорит ей тетя Галя. «Холодной водой?»- не верит кассирша. «Горячей же нет?» – вопросом на вопрос отвечает тетя Галя. «Нет», – говорит кассирша. «Ну, тогда ты не греши и с нас за билет половину бери!» Кассирша послушалась, продала нам билеты за половину цены и пропустила в баню.

А в бане еще и темно. Налили холодной воды в пластмассовые шайки и понесли в парилку. А парилка аж трещит от жара! Начали париться. Потом под холодный душ. Пока в парилке сидели, тут уже и вода в тазике нагрелась. Моемся. Свет потихоньку дали. Народ вдруг за нами следом потянулся. Мы их учим, как надо: в тазик налить холодной воды, и в парилку! А тут и вода теплая пошла, наконец-то, из крана. Пошли с тетей Галей по кругу: опять в парилку... Никогда я столько не парилась. Боялась, как бы плохо не стало. А тете Гале, хоть ей и 88 лет, как с гусыни вода: знай свои бока березовым веником охаживает!

В общем, от души помылись.

БЕЛЫЕ ТУФЛИ

Нашей соседке, тете Гале, в августе исполнилось 88 лет. А моей маме — 87 с половиной. И вот они соревнуются: кто из них проживет дольше. Причем мама о смерти говорить не любит. Тетя Галя же, напротив, любит пропеть в конце застолья в честь своего дня рождения, куда приглашаются старушки из соседних домов и улиц: «Эх! Пить будем, гулять будем! А смерть придет — помирать будем!» Собравшиеся старушки машут на нее руками: типун, мол, тебе на язык, Галина Васильевна! А тетя Галя помолчит-помолчит, потом добавит: «Смерть придет — меня дома не найдет! А найдет в кабаке — с поллитровочкой в руке! За нее, родимую, и выпьем на посошок!» Эта песенная добавочка всем нравится, разрумянившиеся старушки расходятся довольные.

Причем, о смерти тете Гале говорить рано: она бодра, разумна, у нее прекрасная память, она шьет, вяжет, содержит дом в чистоте, готовит, а по субботам два раза в месяц ездит со мной на такси в городскую баню, парится в парилке с веником долго, дольше всех. Любит тетя Галя прийти к нам в гости вечером, когда ее дочка Света уйдет на работу в ночную смену, и поговорить о «смертном» — об одежде, которую припасла себе на смерть. Платье она заказала у портнихи на резиночке — чтобы одевать ее, тетю Галю, мертвую, было бы удобно. Хвасталась, что уже купила ритуальные трусы, рейтузы, майку, белые гольфы. Загвоздка была одна - не было туфель на смерть. И вот однажды на воскресном базаре она наконец-то купила белые туфли. Радостно рассказывала мне и маме, какие эти туфли красивые, белые: не в гроб ложись, а на свадьбу в них невестой беги.

И вот прошло полгода, и вдруг тетя Галя приходит к нам в гости с этими самыми белыми туфлями: мол, малы стали, ноги у нее распухли. И не подойдут ли ее белые смертные туфли Савельевне, моей маме? Я обмерла вся. И моя подруга Юля, которая к нам приехала из Калмыкии, тоже. Ведь примета-то плохая! Мама болеет, лежит, не встает, а тут ей смертные туфли приносят и просят

примерить. Но вида не подаю. Беру у тети Гали туфли и с остановившимся сердцем подхожу с ними к маме. Держу их в руках, как смерть. Меряю. Туфли маме малы!

Я облегченно выдыхаю, нервно смеюсь и радостно кричу: «Туфли маме малы!» Тетя Галя огорчена: что же ей с ними делать? Мы советуем ей пойти на базар и отдать тем, у кого она их купила. И когда тетя Галя уходит, вечер мы с подругой и мамой проводим празднично: радостно бродим по дому, целуем маму в щеки, произносим: «Белые туфли!» — и невпопад хохочем. Мама впервые за время своей болезни смеется тоже.

КРАСНЫЕ КОРОВЫ

Как-то тетя Галя, наша соседка, рассказывала, что перед началом войны приснился ей сон. Будто идет она по своей деревне (в Мордовии), а навстречу ей — огромное стадо коров. Она прижалась к забору, к воротам, чтобы пропустить стадо, и видит, что все коровы красные, и из глаз у них капают слезы. Присмотрелась: а то не слезы, а кровь из глаз у них капает.

А впереди стада – красный бык.

И тоже плачет кровавыми слезами.

Проснулась в страхе, подивилась своему сну: мол, к чему бы это? Но рассказать подругам побоялась: недавно их учительницу, которая в поезде рассказала попутчикам свой сон, – арестовали. Так как сон у нее был политическим.

Всю субботу молчала про свой сон, никому не рассказывала. А на другой день – в воскресенье – война началась.

ΦΑΡΧΑΤ

Фархат появился на нашей улице три года назад в жарком мае, когда разом зацвели абрикосы, яблони и вишни. Он прогуливался по улице туда-сюда, и задирая голову, посматривал поверх забора на цветущие сады: мол, кому нужен работник. Никому он был не нужен. Так как был слишком молод (лет двадцать, не больше) и ослепительно красив: белое лицо, тонкий нос, большие карие глаза, черная, как крыло живущего на нашей старой груше ворона, челка. И стать. И горделивый взгляд. И одет с иголочки. Ходит по улице, будто и не таджик вовсе, а принц датский. Такие таджики никому для тяжелой работы на земле или на строительстве не нужны. Нужны сельские, из аулов, работяги, побитые жизнью, с жилистыми руками, с дочерна загорелыми небритыми лицами, плохо говорящие по-русски, — такие вкалывают с утра до ночи за копейки.

Но у меня было безвыходное положение: развалилась от ржавчины труба под землей, и ее надо было срочно заменить. Менять

трубу вызвался местный водопроводчик Саша, а вот траншею копать он наотрез отказался. Не барское, мол, это дело. Найди таджика, пусть роет. А он, Саша, потом придет и проложит трубу.

Вот я и позвала Фархата. Через забор: заходи, дорогой, есть для тебя работа. И Фархат — вот уж он: стоит передо мной, как лист перед травой. Показала ему, где рыть. Назвала цену. Он начал азартно и весело торговаться. Снова и снова измерял длинными шагами землю от общей водопроводной трубы до дома, показывал на препятствие в виде асфальтной дороги, говорил, что придется-де ему ее вскрывать, тыкал палкой в бордюры, открывал и закрывал металлические ворота, производя ими шум и скрежет, и набавляя цену, даже зачем-то поднял чугунную крышку колодца. Мы оба наклонились и посмотрели во влажную тьму колодца, потом, подняв головы и очутившись лицом к лицу, рассмеялись.

- Пять тысяч рублей! сказал он.
- Нет, сказала я. Давай за три.

Рыть траншею за три тысячи рублей Фархат отказался. И за четыре — тоже. Сказал, что заработает пять тысяч за один день на продаже арбузов. Арбузы у нас продавали у обочины трассы Волгоград — Астрахань: прямо у дороги лежали целые кучи арбузов и дынь, торговцы же чуть поотдаль спасались от палящего солнца под камышовым навесом. Я пожала плечами: флаг тебе в руки, нет — так нет, иди продавай арбузы. Пять тысяч — это целая зарплата в нашем городке: за такие деньги люди целый месяц вкалывают. Фархат ушел. Я начала искать других.

Проходил день за днем, а работники не находились – в мае они нарасхват. Сад же мой без воды засыхал. А по улице то утром, то вечером праздной походкой прогуливался франтом все тот же разодетый Фархат, поглядывая украдкой в сторону нашего дома. Я отворачивалась и делала вид, что не вижу его в упор. За это время он так и не нашел работы. За это время я тоже так и не смогла найти работника.

Наконец я его позвала. Как бы вяло и как бы нехотя. Он радостно, тотчас же, вприпрыжку прибежал. Белозубо улыбаясь, озвучил свою – в те же пять тысяч рублей – цену. «Не жалейте деньги, – сказал он философски. – Деньги – ничего не стоят. А вода – это жизнь!» Эта фраза и решила дело. Я обреченно согласилась.

– С вас еще обед, – добавил он.

Пути наши с Фархатом вновь пересеклись.

Фархат пришел на другой день в семь утра. Спросил, где переодеться. Я показала ему на отдельно стоявшую от дома веранду. Через минуту он вышел оттуда в светло-серых спортивных штанах, без футболки, демонстрируя свой безупречный загорелый торс. Если честно, я залюбовалась им. Соседям и читателямморалистам я сказала бы так: я любовалась им, как мать любуется сыном. Ибо такова была наша с Фархатом разница в возрасте.

Гости из России

С приходом Фархата наша с мамой жизнь преобразилась. Он приходил рано утром, пока не было жары, с первыми лучами солнца, и сам весь был по-утреннему радостный и лучезарный, словно бы он сам лично и приносил с собой нам эти первые лучи солнца. Работал он так, словно бы эта работа — рыть землю — и была его призванием. Точными ударами саперной лопаты, которую он принес с собой, он сначала врезался в землю, а потом аккуратно выгребал ее из образовавшейся ямы совковой лопатой. В полуденную жару Фархат отдыхал, сидя на веранде или под яблоней и играя по мобильнику в нескончаемую игру.

Я было попробовала его покормить обедом, но он, поглядев на борщ и жареные котлеты с картошкой, с легкой брезгливостью отказался. Сказал, что ест только плов. Но когда я собралась приготовить плов, остановил меня и сказал, что ест только «мамин плов», то есть плов, приготовленный руками его матери. И попросил сварить ему куриное яйцо. Так он и питался в дальнейшем одними яйцами, запивая их холодной водой.

С ним было интересно разговаривать. Оказалось, что он был офицером таджикской армии, учился на лейтенанта в военном училище, а когда начал служить, его не устроила слишком маленькая зарплата, и он написал рапорт об отставке. Но все же успел где-то на границе повоевать с афганскими талибами, насмотрелся на смерти и увечья друзей. И умирать за такую зарплату он не захотел.

В Россию он приехал заработать деньги, чтобы жениться. Он должен заплатить за невесту калым. Но для того, чтобы невесту отдали замуж за него, нужен не только калым. Нужно, чтобы у жениха был автомобиль, желательно иномарка. А также перед свадьбой обязательно надо построить собственный дом, куда бы он мог привести молодую жену.

Он — шестой ребенок в семье, самый младший. У остальных братьев и сестер уже свои семьи. Сестер увезли к себе их мужья. А вот для братьев строили дома всей семьей. На их улице стоят уже три дома его братьев. Теперь его очередь строить дом.

И вот он, Фархат, в это лето отрабатывает первый пункт этой программы: зарабатывает на иномарку. В следующее лето он начнет зарабатывать на дом. А еще через год — на саму невесту. Которая у него есть, они любят друг друга, и она его ждет. Но ему надо торопиться. Чтобы его невесту не увел кто-нибудь побогаче и поудачливее. И поэтому его цена за работу всегда — пять тысяч рублей — даже если вся работа состоит из забивания гвоздя. И добавлял свою любимую фразу: потому что он всегда может заработать эти деньги за один день на продаже арбузов.

Напротив нас строили дом его соотечественники. Фархат с ними изредка общался, но относился к ним свысока. Он говорил так: ему с ними общаться неинтересно, потому что все они – из деревни. А он, Фархат, из города, да причем из какого? Главного города

страны – из столицы Таджикистана! Из самого Душанбе! Самого красивого города на свете! Где так много зелени и так много фонтанов! О своей родине он говорил с придыханием и с тремя восклицательными знаками в конце каждой фразы.

Наконец пришел день расчета. Я была очень довольна его работой. Траншея им была вырыта по-военному ровно и напоминала больше окоп. Я отдала ему деньги, и мы расстались.

Но уже на другой день он снова прогуливался по нашей улице и смотрел поверх нашего забора. Всю башку свернул! Фархат опять искал работу. И я его опять позвала. На этот раз надо было обмазать кирпичную трубу. Опять прозвучала цифра в пять тысяч рублей. Я опять торговалась, называя сумму в три тысячи. Он был непоколебим. Я махнула рукой и согласилась. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что цемент с песком перемешивают те деревенские таджики, которые строили дом напротив, а трубу собирается обмазывать молодой узбек, который был у них в подмастерьях. Фархат стоял в стороне и смотрел издалека, как тот ловко приколачивает сетку к кирпичной основе. «Он меня обучает!» – важно сказал Фархат, заметив мое удивление. Но не успел он отойти, как узбек тут же выдал его, сказав, что Фархат за эту работу пообещал ему тысячу рублей. «Тебе надо быть бригадиром, - сказала я Фархату, подивившись его менеджерским способностям. – Деньги с населения выбивать. А работали чтоб другие».

Потом мне надо было побелить дом. Потом покрасить веранду. Потом спилить дерево, вывезти мусор. Я уже привыкла к Фархату и звала его. Он умел делать только неквалифицированную работу. Если же надо было сделать что-то профессиональное, он звал своих, деревенских, выплачивая им копейки. Они его почему-то слушались. И без него работать ко мне не шли, как я их ни просила. Опустив головы, говорили, что им некогда.

В конце концов я стала считать Фархата чуть ли не своим родственником. Так преданно он смотрел мне в глаза, так быстро бросался исполнить любую хозяйскую прихоть. Мы сдружились и в перерыве между работами постоянно вели какие-нибудь беседы на отвлеченные темы. Деньги мои, которые я отложила на ремонт, потихоньку перетекли из моего кармана в карман Фархата. И я сказала ему, что всё, денег больше нет, и пусть он ищет работу гденибудь на стороне. Но у Фархата был, видимо, нюх на деньги. Както он почуял, что все же в моем кошельке что-то завалялось, а именно те три тысячи, которыми я каждый раз безуспешно пыталась его заманить что-то сделать. Он тут же предложил мне построить навес к сараю, назвав свою любимую цену в пять тысяч. Навес мне был не нужен, но если уж Фархат взялся его построить, то пусть строит за три мои последние тысячи. «Пять», — сказал

Фархат. «Три, – сказала я. – Больше у меня нет. Или мне не надо никакого навеса». Фархат молча начал копать ямы для столбов.

В процессе постройки навеса план на ходу поменялся, так как Фархат нашел у забора валявшиеся старые ворота и решил из них соорудить к навесу стену, потом и другую. приладил старую дверь – и получился еще один сарай, который мне был, собственно, не нужен, так же как не нужен был и навес. Но раз построил, буду в нем прятать свой велосипед.

Я решила тут же отдать Фархату деньги и зашла к нему на веранду. На веранде было полутемно и душно. Он переодевался. Я протянула ему три тысячи. Он побледнел и отвернулся. «Бери! – сказала я. - Ты их заработал». Он побледнел и произнес сквозь зубы: «Пять тысяч!» - «Но мы же договаривались на три», - растерялась я. «Три было за навес. А я построил вам целый сарай!» – «Но мне сарай был не нужен!» - сказала я. «Пять тысяч! - опять заявил Фархат уже грозно. – Или...» – «Или что?» – спросила я. «А вот что!» - у Фархата вдруг искривилось лицо, он молнееносно выхватил откуда-то свою саперную лопатку и изо всех сил метнул ею в меня. Лопатка в миллиметре пролетела мимо моего лица и вонзилась в деревянную дверь. За то небольшое мгновение, пока летела пущенная в меня лопата, я вдруг всей своей кожей ощутила страх смерти. Это не сравнимое ни с чем чувство, похожее на истому. О которой так и пишут: смертельная истома. Вот и меня пробило это томительное чувство ожидания смерти, почти в тот миг желанной. Даже пот выступил на лбу. Это была одна секунда. В следующую секунду я уже безбоязно неслась на Фархата, выталкивая его из помещения. И он безвольно меня слушался, бежал, путаясь в одежде. «Уходи и больше здесь не появляйся!» кричала я. Уже на улице в спину я бросила ему мятые рубли – те три тысячи, из-за которых меня чуть только что не убили.

Спустя три года я шла по базару. И уже выходя из ворот, увидела у дороги кучу арбузов. Подошла. Выбрала один и подала его продавцу. «Здравствуйте!» — сказал мне продавец. Я подняла глаза и увидела Фархата. Но от того щеголя и красавца остались лишь одни глаза. Лицо было дочерна загорелым и небритым, как у остальных восточных торговцев. «Здравствуй, Фархат! — сказала я. — Как ты?»

Ощущение было такое, что мы с ним находимся уже на том свете и всё уже друг дружке простили.

«Женился, – сказал он. – Вот посмотрите». Фархат поднес к моему лицу мобильник, и на экране я увидела его юную жену. Красивее этой восточной красавицы я никогда никого не встречала. Я даже ахнула. Стоило за такую красавицу работать, как вол, на чужбине. «Какая красивая», – сказала я. Фархат довольно улыбнулся. «И сын родился, – сказал он. – Только я его еще не видел. Вот заработаю деньги и поеду домой».

Лариса Володимерова

ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА

СУДЬБА

В Иерусалиме в будущем году я повидаться с родиной приду и на три части разделю по-братски арабский, русский и удел свой рабский. И я просилась ночью на постой, детей спасая на Земле Святой, и я себе простила этот бег. и я тебе сказала: этот Бог – он всё поймет, он тоже человек. Но застает нас прошлое врасплох, и детям вечно в поднятых руках нести мое проклятие и страх. Им, выкрестам твоим, в любой стране дорога – в гетто, сторона – в войне и лагерь без начала и конца. Есть отчество в отечестве отца. Но даже их отец, антисемит, меня ни в чем теперь не обвинит.

* * *

Я на земле живу, и в землю – близко, ладонью – в зелень, из-под обелиска струящуюся, где лежит солдат без имени, — известного солдата переплелись рассохшиеся даты, и я слова читаю наугад. Но утро после похорон волшебно всегда, как в первый раз; от Беэр-Шевы восходит солнце, Иерусалим с недостижимым видом на Голгофу, пересчитав отпущенные строфы, Бог даст, меня отправит вслед за ним.

* * *

О, Амстердам, ты улица моя, зловонная от спермы и удушья. Как ледовита радости струя! Услышавший – имеет уши и страх перекидного воробья, на площадь Дам слетая бить баклуши.

Гости из.Голландии

* * *

Жизнь была – она проходит, к счастью. От любви остались поцелуи, как литые пули, с ветерком и язык могучий с матерком.

Оккупанты выверили площадь, по пустыне, озираясь, метят, и сараф на них белье полощет, и колышется над ними месяц,

серебрятся в их карманах дыры, в голове звенит, и на дорогу понемногу выбегает Ирод перед зайцем помолиться Богу.

* * *

лежу на перекрестке жизни. можно расстаться, поскольку пара не впору. или поддаться уговорам бедного, слабого и сумасшедшего, то есть побыть еще бабою и вдовою соломенной: шапка сжигает вора, а виртуально – предложат и без разговору то же, что снится меж кочками да ухабами.

соткан из света он был, силуэт любви, которую мимо несли, провожая взглядами, и он колышется в зеркале визави под водою колодезной и звездопадами. но не бойся, скажу я тебе: восстал твой ангел, а уберечь тебя он всяко не сможет, он превратится в смерть, – и наивен и мал он, и за окном он тоже все тот же: дождик

слёзы мешает, и расползается образ, тщательно создававшийся нашими классиками, дай бог памяти, — нет, но нельзя же так, голос меняется с возрастом, и так хочется праздника,

особенно если не высунуть носа из-под бомбежки, а говорят, фейерверк, – и не признать за колючкой по линии жизни и смерти не то что ладошку детскую, но и в огонь трассирующий сквозь себя не вглядеться получше.

БОЛЬНИЦА ХАДАСА

Пошли дожди. Я связываю ставни веревкою. Боюсь теперь веревок. Мы никогда счастливыми не станем, в восторге плача от пустых обновок. Он верит богу, он боится бога, его учили так, хотя согласен: жечь хлеб нельзя, когда голодных много. Подвластен он болезням и соблазнам: под полиэтилен он прячет шляпу чернильную: в грозу у них так модно в чулках и туфлях с пряжкой. Пес мне лапу дает, и я его целую в морду. А в пятницу иерусалимский рынок вылизывают наши эмигранты и роются в грязи, а бог низринут – поют колокола, и бьют куранты на Спасской башне. Морг был очень долго у самой Русской миссии, у входа, где набежала слёз, должно быть, Волга, и за решеткой плавала свобода. Мои монашки, убирая чётки, мне говорят по-русски: - Наши сестры тебе откроют. И впускают чёрта туда, где просто, солнечно и пёстро.

* * *

всю родину в измученных глазах перетаскать по камешку, по капле по памяти, узлами завязав чтоб выцветшие лица не иссякли; снегирь озяб, его перетяни потуже, горло липкое прервется. забыли музыку. зажгли огни. монетку брось — она к тебе вернется.

ОБЛАКА

никуда не ушли. — отползли, как солдаты перед расстрелом, как когда-то перед рассветом там, где небу не видно земли, так как небо земле незаметно. как тогда, я бегу по запретке, с двух сторон подгоняема: пли.

Гости из.Голландии

* * *

На берегу пустыни красной Земля встает сухой и грязной, как бедуинка, на глаза надвинув небо, но гроза

в июле быть не обещает, и луч песчаный между туч, пронзая горло, навещает глубины вечности. Ползуч, верблюжий сцеженный кустарник ждет, что к нему взойдет напарник, колючка скатится ежом и голос полоснет ножом.

Вздевая руки золотые, в одеждах смерти заплетясь, идет пастушка, заливные луга вытаптывая в грязь,

она воздушна и доступна, ее собака неотступна, ее бараны сожжены, ее мужчины сложены.

Дождями выместив коварству, подолом вымесив полцарства за каплю влаги — за хамсин, захомутав молитвой тучку, разув кормильца, пряча ручку, глядит арабка из трясин

на пальмы наши с голубями, на стриженые паруса, запекшимися шьет губами в глухом Эдеме небеса,

и бусы сыпет, чётки нижет и звезды вяжет бечевой, и в отраженьи глаз я вижу ее у нас над головой.

Марина Гершенович

МОЛИТВА

Кто из твоих подопечных, призванных на небе жить, может служить Тебе вечно, верой и правдой служить? Кто, онемев от усердия и от любви поумнев, ждет от Тебя милосердия и усмиряет Твой гнев? Птицы небесные, звери. Буйвол и лев, и орел входят сквозь узкие двери, чтобы стеречь Твой престол. Все повинуются знаку щедрой десницы Твоей... Боже, оставь мне собаку. Я позабочусь о ней. Я пред Твоей белизною в большем долгу, чем она. Пусть она будет со мною, если Тебе не нужна.

ХАЙФА

Хворост акации на солнцепёке, стены жилища без должной опёки, солью ручная пропитана кладка, штопка песчаника, сланца облатка, Берега долгого кромка рябая. Синее небо. Вода голубая. Море в безветренный полдень скучает, лодочку жизни волною качает и с равноценной затратой усилий перемещает планктон и флотилии. В плотном кольце перезрелого лета жизни земной проступает примета, слабой, но всё-таки жизни, возникшей из неизвестных корней, с непоникшей от недостатка любви головою, могущей впредь приумножить живое... Ростом не более собственной тени. Может быть, тоже из рода растений. Всё, с чем когда-нибудь надо расстаться, кажется тем, чем хотело казаться, перемещаясь по морю и тверди в лодочке жизни, в лодочке смерти.

ЧТО БУДЕТ СНИТЬСЯ МНЕ...

Что будет сниться мне, когда оркестр небесный возьмет последний звук и прекратит играть... Нерукотворный мир, пленительный и тесный, я так тебя люблю, что страшно умирать.

Ты вычеркнул меня из списков лиц полезных и вытеснил давно из всех очередей. С тех пор и вижу то, что называют бездной, когда гляжу в глаза животных и людей.

Надломлено перо и пальцы онемели, но я пишу к тебе и коротаю ночь. Я так тебя люблю, что Свет в конце тоннеля не обещает мне страх смерти превозмочь.

* * *

В объятиях седеющей равнины, где год прожив, стареешь за двоих, ни дерева, ни мрамора, ни глины ты не найдешь для идолов своих.

В окошко глядя, как в пустое око, зимой бесснежной, где-то в январе, смиришься с тем, что взгляд твой одиноко завис на одиноком фонаре.

От созерцанья этого предмета когда ничем не хочешь дорожить, сойдешь с ума, приняв источник света за новую звезду, и будешь жить.

из гессе

Меня пригласили сами. Зачем, я и сам не знал. Изящными господами заполнен был круглый зал. С известными именами известные господа. И кто-то силен был в драме, а кто-то — в романах, да. Столь шумная обстановка сложилась, что спору нет, мне было сказать неловко о том, что я сам — поэт.

Такая непогода над западной рекою, что даже пароходы лишаются покоя. качаются, хмелея, от бури, как от браги, и на высоких реях полощутся их флаги. В карманах у прохожих промокли папиросы, прохожие похожи на списанных матросов. Бредут они по лужам нетвердою походкой, как будто и на суше не расставались с лодкой. Один из них, причалив у погребка пивного, в немыслимой печали бормочет вслух: «Не ново!» И став на якорь прочно, раскуривает трубку. Он в этом баре, точно радист – в радиорубке. Он с корабля «Надежда» бежал, надежда крепла, хранит его одежда следы земного пепла, следы речного ила; присев за круглый столик, он заказал текилу, она не много стоит... ...и саксофон, протяжно зевая, слух морочит. ...достав бумажник влажный, он расплатиться хочет. Кабак времен упадка, где мысли о грядущем пронизаны догадкой печальной, флаг приспущен. Такая непогода над западной рекою, что даже пароходы лишаются покоя. И плавают бумаги в одной реке с фокстротом. И ветер треплет флаги над эмигрантским флотом.

РИСУНОК

Поплачь со мною вместе, акварель, над замыслом изменчивой погоды. Так на листе ты сделаешь метель иной, расплавив в легкие разводы. Свободно подчиняйся красоте, твори себя в изгнании, на воле! Любви хватает места на листе и даже остается, для того ли, чтобы немногим позже и во мне, влюбленной в жизнь. бессонными ночами хватило места светлой тишине и даже оставалось для печали. Так тайна, наконец, сбегает с век, так ветер, оставляя только запах, меняясь к лету, запоздалый снег на юг уносит или юго-запад.

Сумрачно, грустно, до боли знакома тень, убегающая из дома; мимо кустов проскользнув спозаранку, тень повторяет твою осанку. Темный вихор разлохматило ветром, платья подол, что письмо без конверта, — ткань черно-белая в мелкую клетку... Прыгает птичка с ветки на ветку.

Небо, молочная пенка рассвета, медленный свист уходящего лета. Смотрит садовник, насупивши брови, вслед улетающей к югу любови. Шорох шагов, голосов перекличка. С ветки на ветку прыгает птичка...

Ты не оглянешься до поворота, до пешеходного водоворота; лица прохожих сливаются в пятна. Где ты сейчас, мне уже непонятно. Кто-то тебя ежедневно встречает. Прыгает птичка, ветку качает...

Видимо, сердце не выдержит буден... Медленно в грудь ударяя, как в бубен, сердце, сжимаясь от боли, стремится в птичку на ветке переселиться.

НА ОТЪЕЗД ИЗ СИБИРИ

Этот запах кленовой смолы, эта млечная речь! По-школярски лопочет листвы безымянной орава. Чем поможешь, мой Боже, родимое древо сберечь, Утонувшее в белых снегах, что ни живо, ни здраво....

Время всё перетерпит. Но близок назначенный срок. Там оливы растут. Здесь – душевная боль и тревога. Время рушит листву и уносит её в водосток – Это самая верная, слишком прямая дорога.

Как накажешь, мой Боже, взыскав по таланту? И впредь С нашей братии дикорастущей Ты спросишь, и ныне... Знаю, будет честней и достойнее так же сгореть, Как смоковница древняя в неплодородной пустыне.

Потому и пишу, и спешу запечатать письмо. Если я столь бесплодна, что участи лучшей не стою, Пусть заместо меня, отрицаньем природы самой, В этой снежной равнине останется место пустое.

Сергей Касьянов

КАМЕННЫЙ ВЕТЕР

Осталось от Блока пустое тряпье – И ветхости мягкая рана Уже расползлась, и по кромке ее Безгубо сочилась нирвана.

...Он сам перевелся в иной лазарет, От слабости плавая в стыни, Но синею спичкой глухой кабинет Горел в петроградской твердыне.

И лишь одеяло дышало во мгле, И вата его клочковато Все билась, клубилась по вешней земле, Как поезд дымясь виновато,

Как поезд, в котором он плыл от друзей В Эдем свой лазурно-багровый, Где голой скрижалью грозил Моисей – Пророчьей железной обновой.

Белье разорвали на тысячи роб, На тысячи нар одеяло Свезли,

распластали,

и вшивый сугроб, Набив себе брюхо, умыл его лоб, Громоздкий и вялый.

В петропольской гнили он бредил, вдали От топота мюнхенских кружек – И волосы всех Незнакомок цвели Сквозь ткань безымянных подушек.

И поезд уже завернул, дребезжа, В тупик, где шинели и крики, Где Алая Роза – колымская ржа И ягоды костяники.

Мой век напоследок ему подвывал, Тянулись за ним в голубиный провал Глупцы, подлецы и скитальцы...

...А я одеялом его укрывал, И каменный ветер мне плоть продувал.

И вата налипла на пальцы.

XPAM

Потому что не жить, отрекаясь, кляня и горланя, Я скользил по ледку через плечи служилых ворон, Но нашел свой отлет в оперенье мутанта-орлана: И горяч жеребец, и почти розовеет паром...

Знаю, что-то стряслось, улыбнулось в проклятой «Дубине», Рыбари-бурлаки посветлели от соли в траве. И двоится свеча, колыхаясь в рождественской глине, И щебечет цветок у надежды в пустом рукаве.

Эх, Россия-простуда: мордовская, детская слава, Дочь панельной любви, перебитое настежь стекло, Ни стихи, ни стакан, ни погромы и римское право – Ничего твой косой вифлеемский прищур не спасло.

Боже, дай догрести до клочка, чтоб лысеть на трясине, А с пером в животе я и сам доберусь до земли...

Сын и Дочь подойдут; Он же – только о Сыне, о Сыне... Дочь ладошки лизнет и глазницы прикроет в пыли.

Ну, еще потерпи – скоро станет тепло и богато, Снова нищие спят, и Звезда выплывает из ран. Но ползут к алтарю не волхвы, а бухие солдаты, И пустым рукавом подметают бревенчатый храм.

* * *

Хлябь и тоска, дрянь мартобря... Стужа. Лужа и лед – черствая грудь поля... Тихо прошла мыльная тень – дружба. Ну, и плевать, если трясет – воля.

Вкось или вкривь, жар твой, надрыв – ладен. Только и я, падок ли, сыт – пленник: Впрямь алкоголик – рыжий твой блик гладил, И, паралитик, плыл на плоте, как напоследок.

В талом пласте комья земли стукнут по тлену... Скрежет качелей... Чей это сон на взрыде? В рубищах Трои цветами зажгли Елену И на колени пал дряблый пророк Овидий.

Сердце болит – душный болид, овод разлада, В слякоть жужжит, в бремя морщин, в разлуку. Что я могу? Кровь постеречь, хруст листопада? В хриплой воде не удержать скользкую руку...

Апреля ласковая ложь – Стыдливый леденец... Ко лбу приник ладонью дождь, Агонии венец, И заклубился надо льдом, Но засветло горит Его тунгусская ладонь -Живой метеорит. Он гиблой паволоки синь, Он – благ, он – облака, Он – желтый, мятый апельсин, Чья мякоть так легка. Когда летать придет черед Любимой в тишине, Он землю медленно зальет, Пульсируя в окне.

Тогда из губ дохнет мороз, Колебля пух волос,— Беззлобье лепестками роз Засыпет плети кос, И плети рук, и плеть спины, Плоть обращая в кладь, Лишь тени утлые вольны Летать, летать, летать... Покуда Перст не отряхнет Железный виноград, Горох людей, пророк-пилот Сгорают наугад...

.....

Но всё ровнее крови гул, Всё глуше смертепад, Вот луч слабеющий лизнул Безмолвный твой возврат. Я буду древнее лицо Больнее целовать, Потом свинцовое кольцо, Еще горячее кольцо, Припрячу под кровать.

А там, где гаснет уголек, – И щебет, и тоска...

И сладко-сладко тает лед У твоего виска.

Как жалит уши снегопад, Пустясь напропалую, – Так и душа провидит ад, Пустующий впустую.

Уже никто не виноват,-Длинней, чем тень косая, Всю ночь костлявый аппарат Косою машет наугад, Ничуть не попадая.

А божий дар живет в груди, Клокочет, что твой кочет... И сколько горло ни труди, Мычит и жечь не хочет.

На голых ветках по утрам Свисает жухлый тарарам И черный локон снега... Но заберет синюшный хлам Врачебная телега.

За ней намокнет колея Слюдою непогодья... И тьма валится, как ничья Запрошлогодняя хвоя, Сухая от бесплодья.

Облуплен двор, зашмыган сад. Сжимают сердце вести, Что были мы лет сто назад Когда-то здесь. И вместе.

Я доставал бокал и пил, Отогревал и плакал... Но это льдышку защемил Какой-то лишний клапан.

Зато дерзил и врал Эдем, И так горели щеки, Что мы уже с тобой совсем, Совсем, судьба, в расчете.

Ведь там, где нежились луга И никли от простуды, Набрякла мутная шуга Распаханной запруды.

И хоть до века шарь багром. Клад не отдаст водица... Но смерть кончается добром, Когда придет весенний гром И всем распорядится.

Евгений Лесин

КОГДА ЖЕ ПРИДЁТ ЗИМА

А первого января застыли автомобили. Вокруг тишина такая, что можно сойти с ума. Была бы всегда зима, деревья бы не рубили, Овраг бы не убивали, была бы всегда зима.

Улучшили всё дотла, немало у вас талантов. Ничто вас не остановит, ни кризисы, ни чума. Была бы всегда зима, и меньше бы оккупантов Рвалось уничтожить город, была бы всегда зима.

Была бы всегда зима, мы шли бы к уютной речке Кормить торопливых уток и проверять закрома. Была бы всегда зима, лежать бы на теплой печке, Когда же в мой тихий город придет навсегда зима?

* * *

Рабы упорно гнули спины, А барин ехал в экипаже. Какие скучные картины, Какие серые пейзажи.

Вы отдыхаете на пляже, У нас ни Лады, ни Калины. Какие грязные пейзажи, Какие бедные картины.

Шагает ослик без поклажи, Глядит на горные вершин. Какие мрачные пейзажи, Какие дикие картины.

Вы сочиняли нам былины, А мы не шли на распродажи. Какие скверные картины, Однообразные пейзажи.

Пожарский, Минин... Ну и стражи: Пожары, Господи, да мины. Закрыл глаза. Пускай пейзажи Уныло смотрят на картины.

Неустановленные лица Несут прекрасную фигню. И нам сочувствие годится Лишь на пустую болтовню.

Синеет море за бараком. Кто был никем, тот станет всем, А остальные станут раком Во избежание проблем.

Какое верное решенье, Какая пагубная страсть. Не продается вдохновенье Но можно рукопись украсть.

Поскольку каждая корова Мечтает гамбургером стать. Судьба и так весьма сурова, А тут еще и благодать.

Балет уехал на гастроли. Не до того. Любите хор. Теперь я знаю – в вашей воле На всех наслать Роскомнадзор.

Ты надорвешь себе животик, Беспечно глядя на Луну. Летит бумажный самолетик Бомбить далекую страну.

* * *

Коты лежали у камина, Считали медленно до ста. Кровь калорийна, как свинина. Земля безвидна и пуста.

Давным-давно на белом свете Никто не хочет согрешить. Мы не выходим на рассвете, Ямщик, нам некуда спешить.

Раз большинство творит бесчинства, То избавленье от проблем Не сексуальные меньшинства, А сексуальное ни с кем.

Никто не скажет Клитемнестре Про невниманье к визави. Надежды маленький оркестрик Сыграет нам и без любви.

Поэты собирали стадионы, А мы не соберем и Малый зал. Чекисты прячут совесть и погоны, А крысы с корабля бегут на бал.

Кому нужна хваленая свобода, Когда предоставляют кабинет? В раю порой хорошая погода, В аду не отключают интернет.

Не надо умирать. И жить в Париже Не стоит, раз вселенная права. Болтается судьба в навозной жиже, Качая бесполезные права.

* * *

Захочешь забыться, не можешь раздеться, Знакомый до боли – вот именно – вкус. Советский Союз – бесконечное детство. Тяжелое детство, Советский Союз.

Посмотришь с тоскою в глаза бедолаге, А там все пропало и все решено. Хотите опять в пионерский концлагерь? Конечно, хотите, ведь детство одно.

Уснула природа, зеленое сбросив. И нас не тревожит привычный конфуз: Ужасный Адольф и прекрасный Иосиф. Тяжелое детство, Советский Союз.

* * *

И ученым тяжело, и ослам. Император принимает парад. Мэри Поппинс принимает ислам, Мэри Поппинс объявляет джихад.

Мэри Поппинс принимает ислам, Мэри Поппинс поедает детей. Но у них так принято, значит, нам Надо пить боярышник без затей.

Но зато она устроит уют. Наготовит из людей шаурмы. И пока они нас всех не убьют, Виноваты будем только лишь мы.

Даже если мы раны залижем, Пролетели, кряхти – не кряхти, Как фанера над мокрым Парижем, Все этапы большого пути.

Да не прячьте вы взгляд виноватый. Наплевать нам на времени бег. Прошлый век – все равно не двадцатый, А еще девятнадцатый век.

Не любили мы к стенке припертых И не знали дороги кривой. На Гражданской мы были за мертвых, За живых – на Второй мировой.

Ничего нам в итоге не светит, Если вдруг разобраться всерьез. И никто никогда не ответит На не заданный, в общем, вопрос.

СУПЕРЛУНИЕ

Да бросьте вы свою работу, Уйдите на фиг из семьи И отправляйтесь на охоту, Где страшно воют воробьи.

Маршрутки мчатся по ухабам, А молодые дети гор Глядят в глаза угрюмым бабам, Не продолжая разговор.

Декабрьский день. Тоска и холод Сковали серую страну. Я снова болен. И немолод. И тихо вою на Луну.

Пускай не стою ни гроша я, Пускай вокруг апартеид, Луна – действительно большая – Всю ночь над городом стоит.

Ханох Дашевский

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ

(Перевод с иврита)

Запертый сад, сестра моя, невеста... Песнь Песней

ИЕГУДА ГАЛЕВИ (1075–1141)

Будь милосердною, газель, к пленённому тобой, Мой смертный час не приближай разлукой роковой, Уж лучше жги глаза мои своею красотой.

Змеёю обовьёт меня огонь твоих ланит, Сомкнёт объятия свои и в сердце поразит.

А сердце меж твоих грудей приковано моё, Где ледяной души твоей пустынное жильё, Два спелых яблока растут, и каждое – копьё.

Лишь посмотрю на них – в меня твоё копьё летит И жаждет тела моего, ему неведом стыд.

Газель, презрела ты закон, который Богом дан, Твой взгляд охотится за мной, расставив свой капкан, Душой стремится овладеть ресниц твоих обман.

Не потому ли так милы газели стать и вид, Что пламя львицы в глубине газельих глаз горит?

Я перед взором этих глаз, у бездны на краю, Кормлю своею плотью их и кровью их пою, Пьянею от лозы твоей, но сам вина не пью.

Цветёт твой сад передо мной, и каждый плод манит, Глаза газели у тебя, а сердце – как гранит.

И если мне в твоём саду случится побывать, И травы мять. и лепестки нежнейшей розы рвать, Боюсь я в голосе твоём насмешку услыхать.

И если даже голос твой небесный промолчит, Услышу я, как в тишине смех ангелов звучит.

ИСААК ЛУЦЦАТО (1730 –1803)

* * *

Весь облик твой, такой прекрасный, множит Хор восхвалений в мире неизменно. И если даже слух твой изнеможет От гимнов этих – им не будет тлена.

Блеск глаз твоих чьё сердце не встревожит? И даже гнев их красит непременно. Жемчужный ряд зубов твоих поможет Твоим чертам светиться вдохновенно.

Я красоту твою не умаляю, И не найдя в тебе следов изъяна, В изнеможенье взор свой опускаю.

Перед тобой немеют постоянно Уста мои, но в сердце повторяю: Из всех красавиц только ты желанна.

ИЕГУДА ЛЕЙБ ГОРДОН (1830 –1892)

XAHA

Когда я твой образ увидел впервые, Как будто завеса с очей моих пала, Исчезли, как призраки, сны роковые, И новое утро лучами сверкало. Да будет искуплено всё мирозданье, Коль есть в нём такое, как Хана, созданье.

Что свод полуночный, луной озарённый, В сравнении с глаз твоих сумраком звёздным? Что розы долин, ароматы Левоны — С твоим ли сравнятся дыханием росным? Твой взор — первозданного света отрада, А лик — отражение Божьего сада.

И пусть не бела, будто снег, твоя кожа, И лоб не сияет небесной печатью, Пускай ты румянцем с зарёю не схожа, И с ланью стремительной видом и статью, – Под тяжестью будней цветёшь ты упрямо, Не зная порока, не ведая срама.

Пускай на руках не сияют браслеты, Не красят тебя дорогие каменья, Но в сердце, где Божьи хранишь ты заветы, – Там чары твои, там твои украшенья. Росинками детства твой облик отмечен, И знак этот светлый незыблем и вечен.

И пусть не в шелка ты, а в ситец одета, Но свежестью роз твоё тело налито; Как пава, ступаешь тропою рассвета, Хоть золотом обувь твоя не расшита. Тебе ли стыдиться простого наряда — Для многих твой взгляд драгоценнее клада.

Подобна ты солнечной пальме зелёной! Как пальму цветущую красят побеги, Так косы тебя украшают короной, Ты — символ любви, воплощение неги! Сияет лицо неизменной улыбкой, И голос звучит твой волшебною скрипкой.

И пусть иногда на лице твоём тени,
Когда ты смеёшься — весь мир поднебесный
Тотчас расцветает красою весенней,
И юных пленяет лик девы прелестной.
Трепещет мой дух и смущён твоим жаром,
Как робкий фитиль перед пламенем ярым.

И если твой голос во мне отзовётся Звучанием арфы – пусть станет короче Дорога к тебе, и тоска разобьётся, Как в блеске зарниц изваяние ночи. На этой земле мне темно и тревожно, И тяжко любить, и забыть невозможно.

Во взгляде твоём есть чудесная сила, Кто встретит его – тот очнётся не скоро. Немало сердец ты уже опалила Горячими углями дивного взора. Сиянье твоё даже грустью не скрыто, И панцирь от копий твоих не защита.

Не думай, что мир предназначен гниенью, Что режет безжалостный серп ежечасно, Что вечному мраку, распаду и тленью Твоя красота молодая подвластна.

Поэтический перевод

Лишь плоть остаётся у врат преисподней, А дух поднимается к Славе Господней.

Поблекнут румяные щёки, как розы, И сморщится тело, и груди увянут; В глазах потускневших появятся слёзы, Зима твоей жизни и холод настанут. Но облик души твоей, нежной и сильной, – Не будет завёрнут он в саван могильный.

Когда я твой образ увидел впервые, Предстало мне чудное Божье творенье. Ты сны разогнала мои роковые, Смотреть на тебя мне дала наслажденье. Открой же мне небо, само совершенство, И вечным небесное будет блаженство!

Александр М. Кобринский

ИЗ УКРАИНСКИХ ПОЭТОВ АНАТОЛИЙ ШКЛЯР

* * *

Внезапный снег. Окончен печальный разговор. Заборы, окна, крыши отбелены – бело вокруг; тьма белизной расшатана и поглотил простор птиц, одолевших вовремя запредельный круг. Окрестность ожила. Дверь кто-то отворяет, Цвет антрацита – перья вороны сквозь чердак роняют. Даль разбужена и дребезжат трамваи, и воздух тёплым хлебом возле ларька пропах. Балкон открыт. Соседка с придыхом одеяло дубасит. В баках мусорных копаются бомжи... Но небеса изменчивы, что всё ж таки немало – а вдруг им будни вздумается сменить на миражи. Уверенность и мудрость в стихийном их порядке, что, в общем, означает: не знал, не взял разбег... Ты прошлое листаешь в исписанной тетрадке, в надежде - очищение приносит первый снег.

ОСЕННИЙ СОН

Калитки угрюмо скрипят и устало. И злющему ветру раздольнее чтобы, Казацкое войско спешит запоздало Парком столетнего Лазаря Глобы. 1

Рыжие псы на желтеющем склоне Грызутся за кость и виляют хвостами. На заборе настойчивый голос вороний Вещает – и это случается с нами.

Гетман с утайкою клад перепрятал, Свечи горят и сверкают червонцы. Дождик исполнил ночную кантату, Холодные капли стекают с оконца.

Стекают, и в памяти стынут псалмы, Стылых веток суставы торчат на весу: Что найдется тоскливей начала зимы – Ожидания снега в опавшем лесу?

¹ – Лазарь Глоба (есаул Войска запорожского), по легендам, дожил до столетнего возраста (жил в 1770 годах). Занимался садоводством. Его именем назван парк (бывший парк им. Чкалова в г. Днепропетровске).

Махнула рукою, и вправду над крышею домика взлетела из тьмы, зазвенела печальной струною; и расстроена чем-то до боли, моя золотая соломинка летит через город ночной неотступно за мною.

Очевидно, в душе её что-то родное молитвенно пело, был к утехам мирским равнодушен её осиянности лик, и лучик летящий ее медно-жёлтого гибкого тела своей первобытностью я убоялся спалить в этот миг.

Чей-то шёпот я слышал сквозь битые окна квартиры, но прозрел я лишь в осень, блуждая осенней тропою... До рассвета я шастал Улиссом в соломенном мире, и колкие сны мои, словно борзые, стелились стернёю.

Я ведал и в полдень – бессменно здесь стража ночами вселенским лучом наугад освещает заблудшую душу, чтобы не мог повстречаться я вновь с золотыми очами и чтобы при этом сокрытое тайной табу не нарушил.

Казались вокруг ядовитыми даже седые росинки, видать, из скирды этой трогать соломинки было не надо: заплакала женщина горько, и её золотые слезинки мгновенно слились с разноцветным огнём листопада.

* * *

Наши движенья в саду невесомей дыханья пионов. У былых наших праздников нет на воде и следа. Вот и рыбина там шевелится в застывшем затоне, хвостом зачеркнув неразгаданный сон навсегда.

Мерно дышит река и колеблется с нею молчанье. Но исподволь звякнет монисто ответным огнём. Растворились вопросы, остались одни воздыханья, и сирень рассыпает созвездья на теле твоем.

А теченье лукаво малюет порожистый угол атаки, от очей остаются фрагменты и от иссеченных губ. Мель держит в бурливом плену эти кровные знаки, что ты погубил так бездарно в себе – душегуб.

Полунамеками мая пространство рисуется чистым – тот исчезнувший свет, где и бабочки были людьми; где носятся пчелы, жужжа над пыльцой золотистой, где река светлооко колдует, и в ней отражаемся мы.

В святилище сада, не знавшем ни лжи, ни наветов, мы всё ищем следы, утаённый приснился нам сок, но непрожитый отплеск попутных утрат и советов по капле уносит куда-то изменчивой бездны поток.

РАЗГОВОР

В саду позабытом, настоянном на поспевших плодах и жужжании ос, под рюмочный звон золотого вина встретим сумрак, расцвеченный под купорос. Сойдутся блуждавшие в далях дорог и те, кого нет между нами сегодня... Их присутствие в графике веток – залог, что в небесной канве зреет воля Господня. Правда, други редеют... И те, что из мрака СКВОЗЬ ЛИВНЕВЫЙ ГУЛ И СКВОЗЬ ОМУТЫ СНОВ, всплывают... Не всех я увижу – однако в звучанье шагов их послышалась новь. За столом самодельным, спасибо досугу, где груша овалом походит на ухо. разговор поведем, словно прежде, по кругу, будто в этом спасение нашего духа. И здесь, на меже уходящих столетий, потому и сошлись, чтоб себя отыскать – тьма стоит за спиною при солнечном свете, но и в будущем ждёт нас убойная тать. Наше время дано нам пройти через ад, бесконечен наш путь и в конце, и в начале повязал нас спасительной нитью наш сад, чтобы ритма вдох-выдоха мы не теряли.

ВЛАДИМИР СИРЕНКО

В ГАСТРОНОМЕ

Дают со скидкой мясо. Истошный слышу крик. Скрипит от давки касса, упарился мясник. И, созерцая давку, и проглотив слова, смеется на прилавке свинячья голова.

ИЗ «ОСКОЛКОВ»

* * *

Все равны и как будто в нирване, когда без мундиров и в бане.

* * *

Дадут и обезьянам паспорта за доказательство, что нет у них хвоста.

МАЯКОВСКИЙ НА ДЕСЕРТ

Я в столовой облисполкома.
Здесь уютно, как у мамы дома.
Сойти от вкусных запахов с ума.
Плывет к тебе кухарочка сама.
И лесенка всплывает, вот напасть,
Из Маяковского:
«Очень правильная
эта наша
советская власть».

БЫК

В бойне туши на крюках висели. На полу у каждого крюка пятна крови. Очи розовели, ноздри раздувались у быка. Он топтался, он ревел в загоне, бил хвостом он, ощущая миг близкой смерти, и к нему в зелёном фартуке направился резник. Он в ладони – в них дурная сила – лихо поплевал, вернее чтоб, и тяжелой, острою секирой расколол быку костистый лоб. Он нанес удар что было мочи в сотни вольт и лошадиных сил; так ударил он, что бычьи очи слёзно долетели до светил. И в ночах, в которых остывали степи и рябил заливы бриз, очи не угасли в звёздных далях и смотрели, трепетные, вниз.

Лея Алон (Гринберг)



«Я БЫЛ ЗДЕСЬ...»

С этого места я часто наблюдаю закаты. Солнце садится прямо напротив меня. Оно появляется за деревьями, будто выкатывается величественный, хорошо очерченный красный шар. Потом медленно меняет краски, словно затухает, зато вокруг него по небу растекается мягкий свет, очаровывая нежным переходом красок.

Дом на возвышении. Рядом с ним – лес. Ты видишь, как ветер пробегает по верхушкам деревьев, и тогда кажется, что их ветви переговариваются между собой.

Задумавшись, я не заметила, как рядом со мной оказалась Элинор. Она тоже наблюдала за заходом солнца, наслаждаясь красотой и тишиной этих минут.

Я смотрю на неё, сегодняшнюю, повзрослевшую, похорошевшую, и вспоминаю черноглазую девчушку с кудряшками, которая всегда пела. Было в ней особое обаяние. Она вся светилась, и в голосе её, богатом красками, словно играл солнечный луч. Я всегда ощущала это особое тепло, которое она излучала. Минуты нашего общения редки, хотя мы обе — и бабушка, и внучка — живём в Иерусалиме. Она студентка вокального отделения Иерусалимской академии музыки и танца. Поступала сразу после армии. Те месяцы были тяжёлыми не только для неё, но и для меня: так я волновалась. Мне казалось, что я поступала вместе с ней. Пролетели годы. Чтобы оплатить учёбу, она, как и большинство израильских студентов, работала. Для меня годы её учёбы — концерты, экзамены, снова концерты и снова экзамены — слились в один поток, свидетельствуя о её постоянном напряжении. Сегодня — уже четвёртый курс...

 Хочешь, я что-то спою тебе? – спросила она, первой нарушив молчание. Конечно же, я хочу...

В закатном свете солнца, навевающем особый душевный настрой, песня глубоко трогает.

После того, как пошёл дождь, Горы были покрыты мягкой печалью. Прозрачный пейзаж, чистый, как боль после любви, коснулся окон домов. На улице играли дети между пятнами зимы, и только маленькая девочка стояла там одна, и дождь ещё дрожал между ветками её ресниц.

Слушаю песню и чувствую, как боль чужого одиночества отзывается во мне. Девочка, на ресницах которой дрожат капли слёз, как капли дождя, – одна. Вокруг неё – жизнь, весёлая ребячья суетня, и лишь она – в стороне.

- Кто написал эту песню? спросила я.
- Ури Бараш, ответила Элинор. Я принесу тебе книгу его стихов. Мне подарили её после вечера, на котором я исполняла его песню.

Ури Бараш... Имя ничего не говорило мне. На обложке книги – об авторе всего лишь несколько строк.

«Яхефим бтох ха-шекет» — «Босиком в тишине» — его вторая книга стихов. Опубликована в 1988 году. Первая книга «Прахим метим бхошех» — «Цветы умирают во тьме» — вышла за восемь лет до этого.

Да, вот ещё: первая книга переиздавалась трижды, вторая – дважды. Вот и вся информация.

Вновь и вновь возвращаюсь к рисунку на обложке. Может быть, он мне что-то скажет об авторе... Под ярко-голубым небом широко раскинувшееся поле песка. Всё в лёгкой ряби, будто по нему пробежала морская волна. Но моря не видно, лишь где-то вдали густая полоса деревьев. На песке — следы человека. Глубокие — кажется, его нога проваливалась, но преодолевая трудность пути, он шёл, устремившись к далёкому этому лесу. Только эти следы и говорят, что кто-то искал себя в отъединённости от мира, в тишине, в одиночестве. Открываю первое попавшееся стихотворение: «В тишине, почти в молчание». В нём такие строки:

Ты ждёшь его, он опаздывает. Он ищет другой берег. Он ищёт его в одиночестве. Пытаюсь найти что-то об авторе. Интернет, первый и такой надёжный помощник, — молчит. Элинор, получившая книгу в подарок, сказала, что это имя связано с войной. Она исполняла песню на вечере памяти павших, но подробностей не знает.

А я уже — глубоко внутри, стихи растревожили меня. Порой они напоминают этюд, задержанное мгновение, что-то неожиданно проявившееся в душе человека. Две-три детали дополняют картину: то ли ветер, то ли опавшие листья, то ли дождь, холодный осенний дождь.

Это не молитва

Это не молитва. Хотя глаза закрыты, хотя сердце ещё вопрошает. Нет, я не молюсь. Это вечерний час. Ты не можешь видеть меня, я в тени. Я не молюсь. Только тихо оседаю. Послушай, то далёкий ветер завывает...

О войне, где погибают, где звучат разрывы снарядов, где порой умирают на месте, а порой подолгу несут о ней память в своей душе и на своём теле, сказано совсем по-обыденному, и от этого ещё больней. Стихотворение названо «Поле битвы».

Поле, как любое другое поле, только цветы здесь цветут, покрытые целлофаном и камни собраны в памятник, который не касается неба. Шоссейная дорога чернеет на холодных пейзажах, как шрам внутри забвения. Здесь я услышал впервые: «Тут пал» на грани, забытой между детством и болью.

И вспомнились цветы, бережно завёрнутые в целлофан на камнях-памятниках. Кто-то приходил, чтобы выплакать свою боль, и прощаясь, оставил это напоминание о себе.

Однажды я позвонила в Министерство обороны, в отдел памяти павших. Хотела узнать что-то об авторе, Ури Бараше. Какие-то подробности. Может быть, получить адрес его родителей. «Да, — ответили мне, — он был солдатом, но его имени нет в числе погибших. К сожалению, мы тебе ничем не можем помочь…»

Я отложила белую книжечку, в которой было всего лишь пятьдесят страниц, но время от времени возвращалась к ней. И каждый раз находила что-то новое в этих полных печали стихах.

Приближалась ещё одна годовщина, ещё один день памяти павших. И в одной из программ военной радиостанции, которая позже транслировалась по телевидению, я услышала его имя. Несколько фотографий, представленных в кадре, и рассказ его родителей передали весь трагизм этой судьбы. Ури Бараш был ранен сразу же после Войны Судного дня, на Синае, во время своей резервистской службы. Ранение парализовало его и навсегда приковало к инвалидной коляске. Он оставил учёбу на юридическом факультете Иерусалимского университета, где считался одним из лучших студентов... и уединился. Отзвук постоянной внутренней борьбы улавливаешь в стихотворных строчках: «Люди не хотят умереть. / Они хотят проснуться в другом месте. / Забыть...»

Забыть прежнее, забыть, каким был до ранения, как много ждал от жизни, как много она обещала...

Забыть ту радость, ту лёгкость, которая никогда больше не повторится...

Ему были даны годы жизни, но он больше никогда не был прежним Ури.

Мы не от старости умрём — От старых ран умрём.

Война везде война, и Семён Гудзенко отразил её суть.

Стихи пришли к Ури Барашу, как приходит робкий солнечный луч в сумрачный осенний день. Они дарили его душе радость и силы противостояния. Газета «Маарив» публиковала его стихи, потом, с разрывом в восемь лет, вышли две книги. По-видимому, он был очень строг в отборе написанного.

Представляю его наедине с книгами. Вот он перечитывает стихи Рахели. Её поэзия близка ему: стихотворение о нерождённом сыне, которому она мечтает дать имя Ури, перекликается с его стихотворением «Мама назвала меня Ури». Ури — ор — свет.

Он, конечно же, знал и любил Иехуду Амихая, Натана Йонатана. Стихотворение «Ночью. Когда умирают слова» неожиданно напомнило мне стихотворение Натана Йонатана «Южный ветер», посвящённое сыну Лиору, павшему в Войне Судного дня. «И если дерево упадёт на юг или на север / то оно там и останется / куда упадёт». Как немногословно выражена мысль о смерти: навсегда останется на том же месте, никогда больше не зашумит листвой, никогда больше не услышит голоса птиц. Никогда больше...

И ни единого знака препинания. В стихотворении Ури Бараша ты словно ощущаешь дуновение ветра. Он сам всегда невидим, говорит о себе, своих чувствах, будто всего лишь дух без плоти...

Я пришёл к тебе, ночью, когда умирают слова ты ничего не видела из открытого окна я пришёл к тебе прозрачен, как ветер и как ветер растворился в звуках. Я отбросил завиток от твоих глаз любимым дуновением и пронёсся мгновенно. На твоём лбу пальцами ветра я начертал своё имя...

В его стихах нет никаких лишних деталей, лишь передано состояние души. Он вслушивается в себя и находит точные слова, чтобы выразить его.

Ещё вчера я ничего не знала об Ури Бараше, и вот его образ обретает для меня явственные очертания.

Рассказ о нём был частью большой программы, посвящённой творчеству павших. Она называлась «Это твои братья» и напомнила мне одну из первых ивритских книг, поразивших меня своей идеей: сохранить память о каждом погибшем в войнах Израиля. У книги было много томов. Она называлась «Гвилей эш» — «Свитки огня». Это слова казнённого римлянами раби Ханины Бен Традиона: «Свитки горят, а буквы остаются». Уходит только внешнее, а суть человека, его душа остаётся нетленной.

...А потом прозвучала песня на стихи Ури Бараша: «Я был здесь».

Чёрные листья, которые ты оставил на ветру были разбросаны на опустевшей улице я услышал звук твоих удаляющихся шагов я был как эхо и как дрожащий нерв в звонках домов без ответа. Я был здесь, лишь хотел, чтобы ты знал что я был...

...И это последнее «Я был» – как вздох, как напоминание, как мольба о памяти: я жил среди вас, был с вами. Я был...

Я слушала его песню и песни на слова других солдат, порой оставшиеся единственным напоминанием о них, и вдруг вспомнила траурную песнь, элегию царя Давида, поэта и воина. Прошли века, а они и сегодня несут ту же неутихающую боль по ушедшим, и то же восхваление мужества и силы духа: «Как скорблю о тебе, брат мой, Йонатан! Непостижимо чудесной была мне любовь твоя — крепче,

чем любовь женщин! Как пали герои! Погибла сила ратная!» (Шмуэль II, 1:25-27).

Помню первую свою встречу с израильской поэзией. Это было стихотворение Зелды «У каждого человека есть имя»:

У каждого человека есть имя, Что ему дал Господь И дали ему мать и отец. У каждого человека есть имя, Что дали ему рост и улыбка И дала ему ткань.

(Перевод Ф. Гурфинкель).

Имя складывалось из того, что принёс человек своим рождением из вечности, и того, что обрёл здесь, на земле.

Жизнь оставляла себя в нём, как оставляла морщины на лице или следы в его душе...

Неожиданным было это явственно выраженное сочетание земного и небесного, обращённость к душе человека.

Если у Зелды оно – проявление веры, то у многих израильских поэтов – возвращение к истокам, еврейским корням.

В трудном для перевода стихотворении Рахель Шапиро «*Ма эварех*» – «Чем благословлю», – посвящённом памяти одноклассника, погибшего в Шестидневную войну, вновь всё то же выражение двух этих начал: земного и небесного.

Я дал ему всё, что можно дать — Песню, улыбку, лёгкость ног, Нежную руку, и чуткое сердце. Чем же благословлю его ещё?..

Это монолог Ангела. И как горестный вздох, как боль, вырвавшаяся из сердца матери: если бы Ты благословил его жизнью...

В то лето в кибуце Шфаим, где и поныне живёт Рахель Шапиро, отдыхал композитор Яир Розенблюм, которого уже нет с нами. Прочтя стихотворение, он положил его на музыку. И оно словно обрело крылья. Как по разному, даже у той же Рахель Шапиро, передана боль потери. Порой война уподоблена буре: «Хашкем-хашкем ба бокер, яцану лэ дархейну...»

Рано-рано поутру мы вышли в путь Мы вышли в путь тихие и потрясённые Следы бури были повсюду Как большие тени. Как немые свидетели.

Следы бури...

Сколько раз за годы жизни здесь ты переживал минуты, когда казалось: солнце встаёт над полем боя, и свет его, привносящий в мир радость, ещё резче подчёркивал трагизм разрушения. Давно написаны эти стихи.

Конечно же, они посвящены одной из израильских войн. Эта земля знала много войн и много горьких потерь. Но солнце продолжало свой путь, как люди, которые уцелели, и которым нужно идти дальше, оставляя родных и близких на поле боя, как страна, которая устремляется в путь, потому что нет у неё права остановиться. Душа плачет и учится преодолевать боль. И тогда рождаются стихи, которым дано так много сказать...

Стихотворение: «Амра ха-иша» – «Сказала женщина» – написала Тирца Атар, дочь Натана Альтермана. Оно – о сердце женщины, матери и жены. Женщине дано ждать и верить. В её сердце надежда подобна никогда не угасающему огоньку свечи.

Сказала женщина: «Я жду, и ты вернёшься невредим, я не знаю твоего имени, но ты сын, а я мать...» Сказала женщина: «Я жду, потому что я любовь твоего сердца, не знаю твоего имени, но ты мой и я твоя...»

Это стихотворение близко стихотворению Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь...», только оно глубже. В нём больше силы обобщения. Оно о Женщине, вечной силе её любви: «Я Женщина, и вы моя жизнь...»

Так случилось, что Ури Бараш напомнил мне любимые мной стихи, положенные на музыку и ставшие песней. Без них сегодня трудно представить израильскую военную лирику. Его стихи – как приток этой постоянно пополняющейся реки. Но я возвращаюсь к той самой книжке, с которой началось моё с ним знакомство.

На обложке под ярко-голубым небом широко раскинувшееся поле песка. На песке следы босых ног. Ведь это так просто, пробежать босиком по песку...

Строки из стихотворения, названного одним коротким словом: «Паралич»:

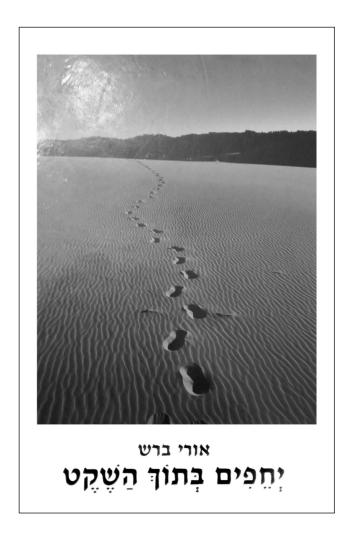
Пойдём туда, босиком в тишине соберём ракушки, посмеёмся, как будто всё можно.

И как оклик, обращённый к самому себе, как спор с самим собой:

Тот, кто не может забыть исчезнет в дожде как бабочка. Как по-разному можно выразить одну и ту же мысль: жизнь продолжается, и надо бороться...

И ещё мне вспоминается тот закат над лесом. Солнце уходило, и по небу растекался мягкий свет, оставляя в душе чувство красоты и тепла. Вот такой свет остался во мне от маленькой белой книжки Ури Бараша «Босиком в тишине» и его мечте о простом человеческом счастье, которое ему недоступно...

Перевод стихов Эммануэля Гринберга



Яков Басин

ИЗ ГОМЕЛЯ В ЛЕНИНАБАД И ОБРАТНО

– Воры! Воры!

Истошный крик, доносившийся со двора, заставил всех сидящих за праздничным столом вскочить со своих мест и броситься к выходу из дома. У калитки стояла, закрывая своим телом выход из двора, взъерошенная, раскрасневшаяся баба Арина. Двумя руками она обхватила сзади какого-то барахтающегося в ее объятиях мужика. Несмотря на то, что на дворе стоял жаркий июльский день, дядька был в грязной заношенной стеганке, а на голове у него почему-то была зимняя шапка. Куртка была распахнута, из-под нее свисали белые полосы постельного белья, развешенного у нас во дворе после стирки. Одной рукой мужик пытался удержать вываливающееся на землю белье, а другой – сдернуть с себя крепкие объятия Арины.

– Воры! – продолжала орать Арина, хотя выскочившие из дома люди уже подбежали к ней, и она могла бы как-то успокоиться.

Дело происходило в 1946 году. К этому времени наша семья уже почти год как вернулась из эвакуации. Само понятие «наша семья» было не таким простым, как это может показаться с первого взгляда. Наши соседи, семья Соломона и Розы Аш, которые жили за стенкой, делили с нами этот домик уже с 1929 года. Это действительно была одна семья. Как мне говорили, я назвал тетю Розу «мамой» раньше, чем маму собственную. Наши семьи и бежали из Гомеля в августе сорок первого вместе, и всю дорогу под бомбежками в одном товарном вагоне провели рядом, и в таджикском Ленинабаде вместе делили одну глиняную мазанку. А собрались вместе наши семьи в тот день, чтобы отметить возвращение в Гомель старшего сына Розы и Соломона, Бори, бравого лейтенантика, который после войны еще служил где-то в Сибири, охраняя какой-то лагерь военнопленных. В Гомель он приехал вместе со своим другом, с которым провел вместе последние годы армейской службы в войсковой разведке. Оба были в военной форме. Они оба, оттеснив домашних, и подошли к вору.

Образ этого вора стоит у меня перед глазами, как будто все произошло буквально вчера. Давно не бритый, с торчащими из-под зимней шапки клочьями волос, с налипшими на усы текущими из носа обильными выделениями, он производил страшное впечатление. Но больше всего поражали его глаза. В них было столько страха и какойто невыразимой боли, что они вызывали не столько гнев, сколько необъяснимое сострадание. И то, что произошло дальше, мне и сейчас кажется невероятным. Борин друг вдруг выбросил вперед и вверх правую ногу и нанес носком до блеска начищенного сапога сильнейший удар мужику в подбородок. Того отбросило назад, но от падения его удержала стоящая сзади Арина. Выпрямившись и как-то удержавшись на ногах, мужик жалостливо посмотрел в лицо бравого лейтенанта, и тут я увидел — первый и последний раз в жизни, — как человек выплевывает только что выбитые у него зубы.

Папа отодвинул лейтенанта в сторону и приблизился к вору.

– Где сидел?

Тот ему что-то ответил. Папа выдернул у мужика из-под куртки все похищенное им белье, вырвал то, что тот зажимал в руках, и сказал:

- Уходи!

Тот стоял, глядя то на отца, то на двух бравых офицеров. Арина отодвинулась в сторону, и мужик, пятясь, вышел на улицу. Арина закрыла за ним калитку. Подавленные происшедшим, все стали отходить к нашему крыльцу.

– Напрасно вы его так отпустили, дядя Зяма, – сказал вдруг Боря. – Вы не знаете, что бы он с вами сделал, если бы вы оказались с ним наедине.

Я помню только, что был растерян. То, что произошло, доходило до меня потом еще несколько дней. Мама, видимо, почувствовала мое состояние. Она подошла ко мне, положила руку на голову и повела, но уже не к столу у тети Розы, а домой. А у меня в ушах стоял не этот крик: «Воры! Воры!». Я наяву слышал другой крик: «Карапчук! Карапчук!». Означало это то же самое, но звучало не здесь, в Гомеле, во дворе дома на улице Рогачевской, 14, а на окраине Ленинабада, на узенькой улочке, упирающейся в широкий, наполненный какой-то мутной водой арык.

Тогда стояла душная ночь. Мы с мамой и бабушками спали во дворе под спасающим нас от насекомых марлевым пологом. Под располагающимся рядом другим таким же пологом спали тетя Роза, дядя Соломон и их дочка Ася. И вдруг на улице кто-то истошно закричал: «Карапчук! Карапчук!». В ту ночь в глиняной стене нашей халупы злоумышленники сделали большую дыру и вынесли многое из вывезенного нами из Гомеля скарба.

1

Есть в жизни каждого человека тот, сравнительно небольшой период жизни, когда он еще находится в счастливом неведении о сути и неизвестных подробностях бурной жизни окружающего его человеческого сообщества. Когда он окружен всеобщим вниманием, лаской и обеспечен всем необходимым для жизни. Когда все близкие ему люди провожают каждый его шаг восхищенными взглядами. Когда те, кого он называет папой и мамой, берут его к себе в постель, укладывают между собой и разговаривают с ним, как со взрослым. Когда ему все доступно, потому что никто не смеет ему ни в чем отказать. Когда он спит в своей теплой кроватке, и взрослые в эти минуты не позволяют себе говорить громко, чтобы, не дай Бог, не разбудить его. Когда его окружают любимые игрушки, и ему всегда есть чем себя занять. Когда все кругом спокойны, и на

лицах никого из них нет печати опасности и тревоги. К несчастью, именно этот период моей жизни пришелся на годы войны.

Гомель немцы оккупировали только в конце августа сорок первого. Просто он оказался в стороне от направления их главного удара, который проходил по маршруту Брест — Минск — Смоленск — Москва. Это спасло нам жизнь. Во всяком случае, родители смогли сориентироваться в эти первые, самые суматошные и тревожные дни войны и решить, что им делать — бежать или не бежать. Сомнения в том, стоит ли поддаваться общей панике и спешить эвакуироваться, были. Отец в 1918 году уже пережил одну немецкую оккупацию, и тревоги относительно того, что эта будет иной, не такой, какой была двадцать с небольшим лет назад, не испытывал. Вот что он мне позднее рассказывал:

– Хорошо помню немцев, когда в Первую мировую они заняли наше местечко Погост, что находилось рядом с деревней Шатилки, которые сейчас превратились в город Солигорск. Семья Корищей была большая. Жили мы довольно тесно, но все равно к нам на постой вселился немецкий офицер. Это был веселый человек. Мне тогда было четыре года, и он подкармливал меня сладостями, играл со мной и, помню, даже носил меня на плечах. Немцы защищали нас от польских погромов, которые случались весьма регулярно и в годы той войны.

Так что, в сорок первом году у отца и мысли не было, что в войне принимают участие «совсем не те немцы».

Бабушка моя, папина мама, Рохл-Лея, была первой из двенадцати детей в семье. Мой папа был у нее единственным ребенком, потому что ее муж, Самуил Басин, погиб в Первую мировую войну (тогда говорили — Первую империалистическую). У отца было одиннадцать дядей и тетей, причем самый младший из них, Меер, был его ровесником. Трое из них еще до Первой мировой эмигрировали в Америку, кое-кто уже при советской власти (в том числе и мой будущий отец) уехали учиться в большие города. Мендель (дядя Миша-старший) стал школьным педагогом в Ленинграде. Меер (дядя Миша-младший) учился в Минске, в юридическом институте. Те, кто уехал из Погоста, остались живы. Те, кто остался, лежат сейчас в одной братской могиле. По некоторым подсчетам, которые папа и Меер сделали уже в конце 80-х годов, их было не менее 29-ти человек

Меер тоже не успел выехать из Минска, оказался в гетто, но, как он сам рассказывал, однажды перелез через проволоку, которой было огорожено гетто, и бежал из города. Ему удалось добраться до Налибокской пущи и вступить в партизанский отряд знаменитого Шолома Зорина. После войны он уехал к Менделю, который был на пару лет старше его, и осел в Ленинграде. В 1990 г. Меер приезжал в Минск. Родители к тому времени уже десять лет как перебрались ко мне из Гомеля, и они с отцом поехали в Погост. Побывали на братской могиле жертв Холокоста, поговорили с местными жителя-

ми. Там еще были старики, которые помнили Корищей. Они рассказывали, как убивали евреев, которые не смогли бы уехать, даже если бы захотели: немцы заняли город буквально на третий день войны.

Мне летом 1941 года было только два с половиной года, и события военной поры сохранились в памяти лишь небольшими фрагментами. Родители потом не так уж много об этом рассказывали, да и я, честно говоря, не слишком интересовался, о чем сегодня очень сожалею. Однако рассказ отца о том, почему наша семья не сразу уехала из Гомеля на восток, я запомнил хорошо.

Отец, Зиновий Самуилович Басин, работал в Гомельском областном отделе здравоохранения инженером. Он вместе с мамой учился до войны в Минском строительном техникуме, и когда они полюбили друг друга, то поехали работать в Гомель, где тогда находился ее отец, дедушка Яков. Дедушка не дожил до моего рождения, и именно его имя получил я. Мама стала работать прорабом на строительствах. Кстати, именно она в 1936 году сдавала «под ключ» новое четырехэтажное здание нашей школы ее будущему директору по фамилии Гайманов. После войны Гайманов опять возглавил педагогический персонал школы, и все десять лет учебы я провел при его директорстве. Папа уже до войны строил больницы, поликлиники, женские и детские консультации, роддома, дома ребенка, ясли и другие учреждения здравоохранения во всей Гомельской области. Этим же он занимался, и вернувшись с войны.

Отец вошел в семью моей мамы в 1937 году. Мы жили в маленьком доме на улице Рогачевской. С нами жили две мои бабушки: мать отца и мачеха мамы — родная мама ее умерла от испанки в годы гражданской войны, а отец, Яков, работал механиком на деревообрабатывающем комбинате в районе гомельского вокзала. Тогда этот район назывался Горелым Болотом. Дедушка умер от чахотки в 1936 году, и мама потом, в течение долгих лет, очень волновалась за меня, если я заболевал. В те годы туберкулез считался наследственным заболеванием, поэтому у нее были все основания за меня беспокоиться.

В этот дом дедушка вселился в 1929 году, сбежав с тремя дочерьми из голодной Вологды в более сытную Белоруссию. А в другой половине дома к этому времени жила еще одна еврейская семья, приехавшая из Рогачева, — сапожник Соломон (Шлойме) Аш с женой Розой и двумя детьми — Борей, 1925 года, и Асей, которая была на два года моложе брата. Вот так эти две семьи и провели вместе, не разлучаясь даже в войну, почти сорок лет, пока дом не снесли под застройку очередной «хрущевки». Жили очень дружно, во всем друг другу помогая. В доме даже была дверь, соединяющая обе половины дома. Еще фактически членом семьи была русская девушка Соня Шостак, сирота, которую наша семья приютила у себя, и та выполняла популярную в довоенные годы роль домработницы. С нами она была и в эвакуации.

2

Когда началась война, папе было уже двадцать шесть лет. У него была броня, и в его обязанности входила эвакуация детских домой и домов ребенка на восток. Как он сам потом рассказывал, первые недели войны в Гомеле было вполне спокойно, но уже было известно, что другие города подвергались бомбежкам, под которыми гибло огромное количество людей. Распространялись жуткие слухи, как целые города превращаются в груду развалин, как в пылающих деревянных халупах, вроде нашей, гибнут не успевшие выбраться на улицу целые семьи. И тогда они с мамой решили, что им надо как-то убраться из Гомеля, который тоже в один день может превратиться в руины и погрести под собой все население. Ничего плохого о немцах никто тогда не знал. В газетах о них ничего не писали такого, что могло бы людей насторожить. Война есть война, и если руководство страны решает оставить город неприятелю, а все население, естественно, эвакуировать невозможно, значит, и нашей семье придется разделить общую со всеми судьбу. Фактически, бежали мы не от наступающих немецких войск, а от бомбежек.

Немцы приближались к городу, и все ждали, что вот-вот начнется их наступление. Из города вывезли все предприятия, уехало все начальство. Было видно, как уходят потихоньку советские войска. И тут папа сделал почти невозможное. Он посадил две наших семьи в товарный вагон, в котором вывозили детей какого-то детского дома. Поезд уходил буквально под бомбежками. Софья Семеновна Азарх, бабушка со стороны мамы, рассказывала мне потом, что ребенок я был очень капризный, часто болел, плохо ел, и со мной было много хлопот. Для меня и сегодня остается большой проблемой понять, чем меня в этих жутких условиях товарного вагона кормили, если я до сих пор весьма переборчив в еде. Скорее всего, спасло то, что мы ехали вместе с детским домом, для которого все же пытались создавать хоть какие-то условия для выживания.

Бабушка рассказывала, как я в вагоне тяжело переболел воспалением легких и чудом остался жив. Деталь: на горшок я садился только с рук бабуси, поэтому этот предмет у нее был постоянно привязан к поясу. А кроме того, когда объявляли воздушную тревогу и все бросались из вагонов в заросли у железнодорожного полотна, только бабуся имела право нести меня на руках, иначе я устраивал скандал. А когда начинали сыпаться бомбы, она падала на землю и прикрывала меня своим телом. На станциях вся семья бежала к заветному крану с надписью «кипяток», чтобы в теплушке был хоть какой-то запас питьевой воды. Так мы и пересекли всю страну. Из узбекского Ташкента нас перевезли в таджикский Ленинабад на грузовиках.

Маленький глинобитный домик на перекрестке двух немощеных улиц, в который нас поселили, я визуально помню до сих пор. А рядом протекал арык, в котором я однажды чуть не утонул, свалившись по неосторожности. Помню невероятную жару, когда нахо-

диться в доме было невозможно. Вся жизнь проходила на маленьком дворике под тенью большого дерева. Здесь стояли стол и несколько табуреток, а в углу была жаровня, для подтопки которой вся семья собирала по улицам козьи «лепешки». Ночью там же, во дворике, и спали на специальных лежанках, сверху накрытых марлевой занавесью. Комаров боялись панически. Многие, в том числе и я, переболели тогда малярией.

Жара была жуткая, и я до сих пор не могу понять, как это таджики при этом ходили в стеганых, с ватной подкладкой, халатах и огромных меховых шапках. Лица женщин были скрыты паранджой, видны были только глаза. Как-то я раз по какому-то случаю попал в чайхану. Там таджики, одни мужчины, сидели на полу, за низким огромным столом. Стол был накрыт толстенным ковром, под которым находились тлеющие угли. Сидящие за столом в таких вот халатах и шапках спустили туда ноги, накрытые пологом этого самого ковра. И при этом они еще пили из пиал горячий, дымящийся чай.

Вскоре после приезда папу мобилизовали, и он оказался на фронте. Сначала был связистом и бегал с катушкой проводов, обеспечивая телефонную связь между подразделениями. Но потом пошел к начальнику штаба полка и сказал, что он — инженерстроитель и мог бы приносить больше пользы. Его взяли в штаб. Он очень хорошо себя зарекомендовал как штабной работник и вскоре оказался в разведотделе штаба армии Рокоссовского, отвечая за все вопросы, связанные с фортификационными сооружениями. К примеру, когда готовилось наступление, он по материалам аэрофотосъемок готовил макеты немецких оборонительных редутов. Войну он закончил под Кенигсбергом.

3

В Ленинабаде все, кроме бабушек, устроились на работу. Соломон по специальности — сапожником. Маму взяли на какой-то военный склад учетчицей. Уехавшая с нами сестра бабы Леи (Рохл-Леи) Вита, приходившаяся тетей моему папе, но моложе его на год, работала на стеклозаводе и часто приносила мне какие-то игрушки из стекла. Особенно я дорожил стеклянной палочкой с красивой цветной причудливо изогнутой ручкой. Тетя Роза стала поваром в воинской части.

Не миновала потерь и наша семья. С Витой приехала ее маленькая дочка Бетя. Она была меньше меня. Муж у Виты, призванный в первые же дни войны, пропал без вести. Я еще помнил Бетю, как она бегала по детской кроватке и смеялась. Но уже в Ленинабаде она умерла. Я же остался в доме самым маленьким и пользовался всеобщей любовью и заботой. Время было голодное, и чтобы «Яничка» всегда был накормлен, тетя Роза подбирала в столовой, где она работала, какие-то съедобные куски, прятала их на себе, между грудями, и так выносила за пределы воинской части. Для этой цели она даже сшила себе специальный лифчик.

Как рассказывала потом мама, таджики приняли эвакуантов не очень дружелюбно. Они не определяли, кто какой национальности, и всех приехавших из европейской части Союза называли одинаково: «собаки». Но общая опасность, общее участие мужей и детей на войне сплотили людей. Таджики активно помогали приехавшим выжить в этих непривычных для них условиях. Я как-то незаметно стал хорошо говорить по-таджикски, и родные частенько брали меня для встреч с местными в качестве переводчика. До сих пор помню, как были изумлены мои близкие, когда я, переводя какой-то разговор, даже вспомнил, как по-таджикски будет мясорубка.

Мама была очень красивой женщиной, и местные часто присылали делегации, пытаясь ее сосватать какому-нибудь богатому таджику. То, что у нее уже есть муж и даже ребенок, никого не смущало. «Когда он приедет, мы ее спрячем, и он ее не найдет», – говорили они, хотя в глубине души, скорее всего, думали, что с войны вообще не возвращаются. О том, что у таджиков готовится какой-то очередной национальный праздник — той, было известно заранее. Маму почти всегда приглашали на эти торжества. Я всегда ходил заранее в тот двор, где предстоит праздник, и каждый раз изумлялся тому, как на костре в огромном чане готовится плов. Маму почему-то всегда сажали возле юбиляра. Рассказывала она об этом потом с юмором.

– Все было очень хорошо и очень вкусно, но когда хозяин в знак огромного уважения ко мне начинал мне вкладывать давно не мытыми руками плов в рот, мне становилось плохо. В эти моменты у меня была одна мысль: как сделать так, чтобы не было рвоты.

Это была национальная традиция, и отказ от этой процедуры хозяева расценили бы как величайшее оскорбление.

«Женихи» ходили и за юной дочерью тети Розы, красавицей Асей. Получая очередной отказ, они приступали к угрозам и начинали нам бить окна. А тут в нашу мазанку поселилась еще семья родной сестры тети Розы из Рогачева — Хаи-Соры. Скученность была жуткая. Появилась в этом сообществе еще и дочь Хаи-Соры Биба, тоже красавица. Так у нас оказалась еще одна «невеста», и соответственно, увеличилось и число ухажеров. Девушки бегали в кино и дома рассказывали потом содержание фильмов.

Я просился хоть раз взять меня с собой. Наконец, это произошло. Вокруг картины был какой-то ажиотаж, и в кино взяли даже бабушек. Дело было поздно вечером. Точнее, ночью. «Кинотеатром» называлась часть какой-то площади, огороженная забором. Внутри стояли скамейки. Я сидел у кого-то на коленях. На экране стреляли. Я был в восторге. И я запомнил даже, как назывался этот первый в моей жизни фильм — «Два бойца».

Хая-Сора успела сбежать из Рогачева куда-то на Урал. Она писала сестре Розе какие-то жуткие письма о том, как им там плохо, как они голодают, и прочее. Тетя Роза зачитывала нам все эти письма, и тогда семейный совет решил: Хаю-Сору надо спасать и

вызывать ее с Бибой сюда, в Ленинабад. Когда та приехала и машину с вещами стали разгружать, всем стало плохо. И дело не в том, что в наш маленький глинобитный домик вселялись новые жильцы с большим количеством вещей. Как потом говорила моя мама, Хая-Сора, даже продавая по одной-две вещи в неделю, могла пережить со своей семьей не только эту войну, но и следующую, так что все ее стенания были элементарным шантажом. Конечно, замечательно, что в этой трагической обстановке обе сестры оказались под одной крышей, но этот случай так и остался в моей памяти как пример невероятной жадности. Мне, мальчишке, вслед за взрослыми было все это противно, и когда старуха пыталась меня погладить по головке, я вырывался и кричал: «Хайсора нет!».

Борю, сына тети Розы, тоже призвали в армию. Он был физически сильным и попал в разведку. Был ранен, правда, в пятку, что было поводом для дружеских шуток и Бориной самоиронии. Папа часто писал с фронта. Он понимал, что все письма просматриваются цензурой, и поэтому у них с мамой была предварительная договоренность: чтобы та хотя бы ориентировочно знала, где он сейчас находится, он делал ей прозрачные намеки. Например, если он писал, что вечерами слушает пение соловьев, та понимала, что соловьи у нас, как правило, курские. Значит, он на Курской дуге. А если он писал, что пьет вечерами с друзьями по службе чай из самовара, значит, он где-то в центральной части страны, где делаются тульские самовары.

4

За моей мамой уже тогда закрепилось прозвище «маленькая мама», по фильму с таким названием, где роль этой самой «маленькой мамы» играла Франческа Гааль. Мама действительно была маленького роста, и я потом уже понял, отчего я сам, что называется, не вышел ростом. Маме все симпатизировали, и, когда я однажды куда-то исчез и меня не могли найти, на ноги поднялся весь поселок. Я в каком-то углу огромного сада моей таджикской подружки Тутышки заигрался и забыл о времени. А так как однажды я уже упал в арык и чуть не захлебнулся, все решили, что история повторяется. В общем, переполох поднялся огромный. Весь арык облазили, прощупывая под водой каждый уголок.

Все, что происходило во взрослом мире, меня не касалось, да и мама всячески оберегала меня от того, чего мне не следовало знать. Поэтому если осталось что-то в памяти, то только чисто детские впечатления. Как-то один из наших таджикских соседей дал мне подержать за веревку козу. «Смотри, чтоб не ушла!» — строго приказал хозяин. Я и стал «смотреть». Пока коза глодала какие-то побеги, все было хорошо. Но потом ей понадобилось куда-то пойти, а я стал ее удерживать. Коза оказалась сильнее и потащила меня за собой. Я стал упираться и в конце концов упал. Коза продолжала меня тащить. Видимо, я закричал, потому что в калитке вдруг пока-

залась вся наша семья. Раздался крик: «Брось веревку!». Но как я мог обмануть доверие хозяина этого упрямого животного?! Я не отпускал веревку, и мне потом еще долго лечили мой кровоточащий живот.

Еще один эпизод нашей ленинабадской одиссеи. Я пришел к Тутышке. Большой двор. У дома — огромный пес. Я зову девочку, и последнее, что я помню, — бегущую на меня собаку. Когда я пришел в себя, первое, что я увидел, это мое изображение в зеркале, висящем на стене. Женщина в военной форме — военврач — держит меня на руках. Лицо мое забинтовано — торчат только глаза и нос. К моей рубашке прикреплены медали. Это ее медали, снятые с гимнастерки. Слышу ее голос: «Видишь, и ты теперь — герой!». Этот «герой» тогда едва не потерял правый глаз. Шрам на скуле остался на всю жизнь. А еще я получил тогда двадцать или тридцать уколов в живот от бешенства. Собака, к счастью, оказалась здоровой, но чтобы убедиться в этом, надо было сохранить собаке жизнь и следить за ее поведением. Поэтому мама еще долго носила ей еду, потому что хозяин, доказывая маме свое уважение к ней, от собаки отказался и даже хотел ее пристрелить.

9 мая 1945 года я запомнил очень хорошо. Биба пошла на базар и взяла меня с собой. И там, на огромной площади, вдруг раздались крики: «Победа! Победа!». Люди стали обниматься, целоваться. Прошло некоторое время, и наша огромная семья стала собираться к отъезду. Однако все оказалось не так просто, и я хорошо помню, как нервничала мама, а вместе с ней тетя Роза и бабушки, когда пришлось ждать, пока из Гомеля придут какие-то документы. Но их все не было и не было. Потом документы пришли, и все стали увольняться со своих работ, но Соньку с военного завода не отпускали. Уже билеты на поезд с посадкой в Ташкенте куплены, а у нее все еще нет «открепления». И тогда семья решила, что Соньку надо просто украсть. Помню грузовик, в кузов которого мы поместили свои пожитки, сами уселись на них и отправились в путь. Сонька – с нами. Помню, как ее укрывали за бортом кузова какой-то накидкой, и проезжая мимо ее завода, все волновались, что машину остановят для какой-нибудь проверки документов. Но все обошлось.

Всю дорогу до Гомеля я пролежал на верхней полке, разглядывая пейзаж за окном, но в памяти остался только невероятно длинный мост через невероятно широкую Волгу. А в Гомеле нас ждали огромные неприятности: наш дом был занят. В обеих его половинах жили семьи полицаев — братьев Коваленко. Но дом был ЖАКТа, а у нас и у тети Розы были паспорта с довоенной пропиской. Нас вселили в одну маленькую комнатку на одной половине дома — мама, я, две бабушки, Вита и Сонька, Розу и Соломона с Асей — в одну такую же маленькую комнату на их половине. Остальные комнаты заняли семьи полицаев. Я подружился с их сыновьями моего возраста, и мы вместе играли в наши детские игры.

<u>Мемуары</u>

Братья пили беспробудно, видно, чувствовали, что им конец. А тут Боря пришел из армии. Начались драки между ним и братьями. Однажды я такую драку видел. Она случилась поздно вечером, когда все уже легли спать. Не всю драку, а только ее начало, пока мама не утащила меня на нашу половину дома. Боря сцепился с одним из братьев. Все кричали. Но надолго почему-то запомнилось, как Соломон бегал по дому в одних кальсонах. Одной рукой он удерживал кальсоны, чтобы они не свалились, а другой держал милицейский свисток, с которым ходил обычно на соседний Рогаческий рынок смотреть, кто, что и почем. Его свисток еще долго был слышен в нашей половине дома. Мама, успокаивая, гладила меня по голове. На своих кроватях, укутанные в одеяла, сидели бабушки и Сонька. Но через какое-то время братьев судили и расстреляли как предателей. Семьи их куда-то вывезли, и мы заняли всю площадь. Вскоре и папа демобилизовался.

От военного времени у меня остались на память два предмета: готовальня и шуба на собачьем меху. Готовальню мама привезла из Ленинабада. Начальник склада, где она работала, очень ей симпатизировал. Перед ее отъездом он завел ее на склад и сказал: «Бери, что хочешь!» Мама потом говорила, что она могла обогатиться и до конца в жизни ни в чем не нуждаться. Собственно, так поступали в те дни многие. Но она взяла одну готовальню: Зямка вернется, ему придется опять чертить, а где он возьмет готовальню? И еще она потом говорила, преподавая мне уроки жизни: «Я никогда никому и ни в чем не завидовала и никогда не брала больше, чем мне было положено. Так и твой папа. Для нас главное было – спать спокойно».

Готовальня папе и в самом деле очень пригодилась. В тяжелые послевоенные годы он брал работу домой и ночами готовил какието чертежи своих больниц и поликлиник. У него это называлось «халтурой». Впрочем, готовальня и мне пригодилась. В старших классах школы.

Шубу привез из армии папа. Он подобрал ее где-то в чьей-то пустой квартире. Серая, на желтом собачьем меху. Она и мне послужила. Когда я вырос, я носил ее — и в школе, и еще три года в институте, в Минске. Жил я с другом на квартире и нередко в зимние холода накрывался ею поверх одеяла. В семье шубу даже назвали «мамой». Конечно, она была уже страшной, но времена были сложные, с деньгами проблемы. А когда у меня впервые появилось настоящее зимнее пальто, шуба по-прежнему служила вторым одеялом. Выбросила ее на помойку уже моя жена. И только тогда я понял, что война, наконец, кончилась.

Александр Перчиков

ПАМЯТИ ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА

Память избирательна. Она высвечивает одни воспоминания и скрывает в туманной пелене другие. Она составляет причудливый паззл, собирает удивительную мозаику, загадочный орнамент из слов и лиц, жестов и фраз, вяжет на спицах времени ткань прошлого. Самые яркие и таинственные воспоминания те, что идут из раннего детства. Я себя помню примерно с трёхх лет. Конечно, это отрывочные картинки, как осколки цветных стеклышек в калейдоскопе. Самара тех лет, конца 50-х — начала 60-х, до сих пор живет в моей памяти. Жили мы тогда на улице Галактионовской, напротив оперного театра, в двухэтажном деревянном доме с «удобствами во дворе». Родители мои и бабушка работали весь день, и со мной сидела моя любимая нянька Лида, татарская девушка из деревни, благодаря которой я тогда уже умел говорить несколько фраз по-татарски.

Помню, в жаркий летний день 1958 года Лида взяла меня, трёх-хлетнего, на руки и выбежала на улицу. Со всех сторон звучало: «Хрущев, Хрущев...». Люди стояли по обеим сторонам улицы Галактионовской, кто в чем, многие в домашней одежде, выбежав из дома внезапно, повинуясь общему чувству. Помню большую черную машину, медленно проехавшую по улице, но невысокого полного лысого человека я, конечно, в ней не увидел или не запомнил. Да, речь идет о первом и последнем визите в Куйбышев тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Очевидцы рассказывали потом, что местные власти собрали на площади Куйбышева множество людей. Им не давали выйти с площади, и они стояли на жаре несколько часов. Когда партийный лидер наконец появился на трибуне и начал говорить, из толпы уставших людей понеслись протестующие выкрики. Хрущев разозлился, скомкал речь и со словами: «Ноги моей здесь больше не будет... » — сел в машину и уехал.

Не знаю, насколько такая версия визита Н.С. Хрущева в Куйбышев близка к правде или далека от нее, но больше до самого своего смещения в октябре 1964-го лидер «оттепели» в наш город не приезжал. Что интересно, слухи обычно не возникают на пустом месте и дополняют картину происходящего, внося неповторимые мазки в портрет эпохи. Помню, была у меня толстенная книжка В. Вересаева «Пушкин в жизни» 1932 года издания, по-моему, так в ней писатель сознательно выделил разделы: «достоверное», «недостаточно достоверное» и «явно недостоверное». И что интересно — все три раздела были важны для писателя, все освещали громадную фигуру Пушкина по-своему, даже слухи и сплетни о нем.

В Самаре моего раннего детства я помню безногих инвалидов войны в линялых гимнастерках на тележках с подшипниками вместо колес. Они просили милостыню дибо играли на баяне или гармони,

а прохожие иногда бросали им медяки. Потом, в 60-х годах, они как-то быстро исчезли с самарских улиц.

Я помню на старом речном вокзале на Некрасовском спуске большую статую Сталина и его портреты, которые убрали после XXII съезда, в 1961 году. Я помню, как в первом классе 25-й школы не раз шел с одноклассниками домой по улице Рабочей и как мы взахлеб говорили о скором приходе коммунизма — как это будет здорово и как можно будет без денег брать в магазинах все, что хочется, и столько, сколько нужно. Казалось, что в самом воздухе было разлито какое-то пьянящее весеннее вино, было ощущение, что жизнь становится лучше. Году в 1962-м мои родители купили холодильник «ЗИЛ-Москва», который честно прослужил почти тридцать лет, до самого нашего отъезда в Израиль в 1990 году, и это тоже было одним из признаков улучшения скудного и трудного тогда быта.

Прихотливая волна памяти неожиданно выносит на берег сегодняшнего дня не только радостные, но и трагические события из самарской жизни моего детства. Страшная трагедия на старом дебаркадере под Ульяновским спуском, когда подломились мостки и утонуло несколько десятков школьников, собравшихся для теплоходной экскурсии. Ужас, объявший город, когда в поселке Зубчаниновка орудовал маньяк Серебряков...

Я помню, как впервые появились продовольственные талоны на белый хлеб и макароны, и как я, ученик второго класса в 1963 году, стал вдруг кормильцем всей семьи, так как в школьном буфете можно было купить белые булочки, которые назывались «сайки». Я помню, как у бабушки появилась приятельница Вера Михайловна, женщина с искалеченными ногами, на костылях, жившая одна в маленькой квартире на улице Гагарина. Бабушка рассказала мне, что ноги Вере Михайловне сломали в лагере, а ее муж, генерал, был расстрелян. У другой бабушкиной подруги, Фани Ефимовны Кастроль, были очки с толстенными стеклами, и она почти ничего не видела. Оказалось, что она тоже была репрессирована, много лет была в лагерях, потом ее реабилитировали, но зрение там она потеряла. Ее сын Ефим стал врачом, был главным гинекологом Куйбышева, а дочь Евгения стала заслуженной учительницей.

Это все 60-е, вторая половина... Но волшебное свойство памяти таково, что больше вспоминается всё-таки хорошее.

Я самарец во втором поколении со стороны мамы. Она родилась в Самаре в 1931 году, когда город еще не стал Куйбышевом. Все мои корни из Польши, Литвы, Белоруссии. Дедушка со стороны отца, Яков Иосифович Перчиков, был родом из Польши, из города Барановичи, который потом отошел к СССР в составе Западной Белоруссии. Он рано потерял родителей, но смог окончить гимназию с серебряной медалью. Помню, как он слушал на своей «Спидоле » передачи Бт-Би-Си из Лондона на польском языке, так как на русском их нещадно глушили. Дедушка со стороны мамы,

Исаак Ефимович Альперович, родился в Вильно, перед Первой мировой войной учился в Высшей коммерческой школе в Берлине, но не смог ее окончить из-за войны. Мой отец, Анатолий Яковлевич Перчиков, эвакуировался с семьей из Минска в первые дни войны в 1941 году, было ему тогда пятнадцать лет.

Все они собрались в Самаре, которая приютила их и стала им домом на многие годы. Дедушка Исаак стал сотрудником самарской газеты «Волжская Коммуна». Однажды я нашел в бабушкином шкафу номер ВК за 1925 год. Это был юбилейный номер, помоему, по случаю пятилетия газеты. В номере — фотографии ведущих сотрудников, и среди них — заведующий отделом писем, рекламы и объявлений газеты И.Е. Альперович. Он проработал в газете до 1937 года, когда его неожиданно вызвал главный редактор и сказал: «Исаак Ефимович, вам нужно срочно уволиться, я вам настоятельно советую». (У дедушки одна сестра жила в Польше, другая — в Латвии, в Риге.) Дедушка послушался и уволился в тот же день, а через несколько дней арестовали почти всю редакцию во главе с главным редактором. Никто из них не вернулся. Выходит, редактор тот спас моему дедушке жизнь и своим появлением на свет я тоже в значительной степени обязан ему...

Моя бабушка Ольга рассказывала мне, как в одну из темных ночей 1937 года всех сотрудников газеты срочно вызвали в редакцию, а оттуда послали объезжать все киоски, куда поступили новые, только что отпечатанные экземпляры газеты, чтобы изъять весь тираж. Оказалось, что в одном из заголовков в фамилии Ворошилов была пропущена буква «О», и получилось ВОР ШИЛОВ. Помните, в фильме А. Тарковского «Зеркало» была показана точно такая же ситуация? Как говорится, взято из жизни. Так впервые я соприкоснулся с самарской журналистикой не только в качестве читателя.

Но у этой истории было продолжение. Как я уже сказал, одна из дедушкиных сестер, Фаня, жила в Польше. Буржуазной Польше, как тогда говорили. А ее дочь Ирина, двоюродная сестра моей мамы, осталась в Советском Союзе, занялась активно партийной работой и вышла замуж за видного большевика П. Евдокимова. Ирина порвала со всеми своими родственниками, заявив, что не хочет общаться с людьми, живущими мещанской жизнью и обывательскими интересами. Вот только со своей мамой она продолжала поддерживать связь. Письма, посылки... Однажды поссорилась со своей домработницей (а жили они в знаменитом Доме на набережной), и та, недолго думая, настрочила донос в НКВД – дескать, связаны с вражеской страной, Польшей. Ирину и её мужа арестовали на следующий день. Он получил десять лет лагерей, она – пять. У них был уже маленький сын, Юра Евдокимов, мой троюродный брат. Павел отсидел свои десять лет от звонка до звонка, но перед выходом из лагеря его жестоко избили уголовники, и вскоре после освобождения он умер. Ирина получила после своих пяти лет лагеря еще пять лет ссылки в Архангельской области. Там Юра заработал ревматизм из-за северных холодов и серьезно подорвал свое здоровье.

А в середине 50-х их полностью реабилитировали. Ирине дали персональную пенсию, двухкомнатную квартиру в Москве на Ленинском проспекте. Юра окончил факультет журналистики МГУ и сделал блестящую карьеру в журналистике. В тридцать восемь лет он был заместителем редактора газеты «Вечерняя Москва», общался и дружил со многими известными людьми (в его доме я видел потом его фотографии с Ю. Гагариным, Е. Евтушенко и др.) Но когда ему позвонили из аппарата ЦК КПСС и сообщили, что его утвердили на должность главного редактора советских периодических изданий за рубежом (должность в аппарате Центрального Комитета партии), он поблагодарил и сказал, что навряд ли сможет этим воспользоваться – в тридцать восемь лет Юрий Евдокимов, зам. редактора газеты «Вечерняя Москва», заболел и буквально за несколько месяцев сгорел от тяжелого онкологического заболевания. В его квартире остались жить мать Ирина и сын Костя (жена ушла от Юрия незадолго до его смерти).

И вот тогда, оставшись одна, Ирина начала разыскивать своих родственников. Так она нашла мою маму и стала с ней регулярно переписываться. Я несколько раз останавливался в ее московской квартире, будучи в командировках в Москве. Все там хранило память о Юре и все было необычно для меня, самарского студента, а потом инженера. Шкура белого медведя на полу, пробковый шлем и английский штык на стене и всюду фотографии Юры с космонавтами, академиками, поэтами и актерами. Я пару раз пытался вызвать Ирину на разговор о прошлом, об ее аресте и лагерях, но она избегала этой темы. Я знал от мамы, что, попав в лагерь, Ирина просила прислать ей туда книги Сталина. Что это было – попытка выживания в лагерном аду или заблуждения фанатичного коммуниста? Один раз она сказала мне: «Сталин победил своих конкурентов потому, что умел формулировать лучше других». - «Но он же сломал вам всю жизнь!» - не выдержал я. Она помолчала немного и сказала: «Да, Сталин был негодяй, я его ненавижу».

Больше она к этой теме не возвращалась. Так я снова соприкоснулся с жизнью журналиста, уже московского, с той таинственной аурой, что осталась после него, с моим личным отношением к его судьбе.

Случилось так, что и сам я занялся журналистикой и, как говорится, втянулся. Было это в 1981 году. К тому времени у меня было несколько публикаций стихов в московском журнале и в куйбышевских альманахах и пара заметок об организации молодежного досуга в газете «Волжский Комсомолец». Вообще 1981 год был для меня трудным годом. И материально — к тому времени я был уже год женат, у нас была маленькая дочь, жена моя не работала, так как сиде-

ла с ребенком, и жили мы на мою зарплату инженера — молодого специалиста, то есть на все про все было у нас 120 рублей в месяц.

И морально – в том году мой отец тяжело и неизлечимо заболел, и прогноз врачей был такой, что ему оставалось жить несколько месяцев. Я искал хоть какой-то выход, какие-то дополнительные заработки. Были мы однажды в том году в гостях у Натальи Ивановны Михайловой, известного куйбышевского радиожурналиста. Ну, о ней надо рассказать особо. Старейший самарский журналист, она много лет проработала редактором детской, потом молодежной, а потом и литературной редакции куйбышевского радио. Она придумала и организовала детский пресс-центр при Дворце пионеров и много лет им руководила. Личная жизнь у нее не сложилась, и ее семьей стала шумная ватага пресс-центра из разных школ города. Она так и называет их до сих пор: мои дети. Готовила с ними радиопередачи, ездила в Прибалтику, на разные фестивали. Из пресс-центра вышли многие известные журналисты, например А.В. Князев, бывший одно время председателем самарского ГТРК, Марк Галесник, редактор юмористической газеты «Бесэдер?» в Израиле, и др.

Я познакомился с НатИв, как ее звали юнкоры, случайно, когда в 1972 году мне, выпускнику 10-го класса школы № 12 Куйбышева, предложили прочитать стихи в ее радиопередаче о выпускниках. Потом, когда я женился в 1980 году, оказалось, что моя жена Люда Дубникова несколько лет занималась у Натальи Ивановны в прессцентре, была диктором в детской радиопередаче, ездила с прессцентром в Прибалтику. Такие вот пересечения случаются в жизни. Может, есть в этом своя внутренняя логика? Ведь именно Наталья Ивановна в том 1981 году посоветовала мне попробовать свои силы в куйбышевских газетах. «Сходи в "Волжскую Зарю" к Саше Боголюбову, — сказала она. — И себя проверишь, и приработок все же какой-никакой».

И вот я в редакции куйбышевской вечерней газеты «Волжская Заря». Захожу в отдел культуры и науки и спрашиваю Александра Боголюбова. Он встает мне навстречу, человек лет тридцати пяти, блондин с голубыми глазами, начинающий лысеть и с заметным косоглазием. Говорит весьма дружелюбно, и мы договариваемся, что первую статью я напишу о проблемах и новшествах по своей специальности, АСУ (автоматизированные системы управления). Мне было интересно попробовать написать об этом, и возможный гонорар, конечно был желанным обстоятельством, но не главным – можно было заработать и больше в некоторых других местах. Приношу статью через несколько дней и отдаю Саше. Он тут же садится ее читать, потом поднимает голову и смотрит на меня внимательно.

«Старик, – говорит он мне, – ты вообще-то читаешь нашу газету? Видел, как у нас пишут? Это же не научная статья, нужно ввести прямую речь, дать примеры, объяснить популярно понятия.

Читателю должно быть интересно тебя читать. Попробуй переделать и принеси снова». Так я получил первые уроки от Александра Боголюбова, который стал потом одной из легенд самарской журналистики. Второй вариант статьи понравился ему гораздо больше, но через несколько дней он мне позвонил и сказал: «Старик, есть проблема. Ты тут пишешь об одной из систем, которые разработали в твоей организации — Куйбышевском ПКБ АСУ (проектно-конструкторском бюро), которая называется "детская смертность". Понимаешь, старик, цензор не пропускает. Нельзя печатать такие слова в газете. Детская смертность есть, а писать так нельзя. Может, заменим на ПЕДИАТРИЯ?» Я, разумеется, согласился, и моя первая статья в «Волжской заре» была опубликована.

В комнате отдела культуры и науки газеты вместе с Сашей сидела еще одна сотрудница, журналист Анна Сохрина. Про нее Саша сказал шутя: «Анька думает, что она тут главная, но на самом деле главный тут я». С чувством юмора у него все было в порядке. Но на самом деле главным в этом отделе редакции был его заведующий В.В. Князев. Как-то само собой получилось, что я незаметно перешел в его руки, и большинство статей в следующие девять лет писал в основном по его заданиям. Чаще всего это были научно-популярные статьи довольно большого объема, тут-то и пригодилось мое высшее техническое образование. В конце 80-х я еще раз встретился с А. Боголюбовым морозным зимним вечером на улице Ново-Садовой. Он уже не работал в газете и сказал мне, что занялся профессионально фотографией. «Жить же на что-то надо, старик», — объяснил он мне. Сын известных актеров Самарского драматического театра, он рано ушел из жизни.

Трудно сложилась судьба и его коллеги А. Сохриной. Она дневала и ночевала в редакции, личная жизнь у нее не задалась, работа стала ее семьей. Но однажды ее чувствительная психика не выдержала напряжения. После лечения Аня переехала на ПМЖ в Израиль. Однажды мне дали ее номер телефона, и я ей позвонил. Она жила в городе Арад. Аня меня сразу узнала и сказала: «Я слежу за вашими публикациями». Не знаю, как она сейчас, жива ли, номер ее телефона потерялся, общая знакомая, которая помогала ей в Самаре, умерла...

За почти девять лет моего сотрудничества с газетами в Самаре жизнь подарила мне немало интересных встреч. Я вспоминаю, как делал целую полосу в «Волжской Заре», посвященную чтению и Обществу книголюбов, вместе с Геннадием Шабановым. Это легендарная личность, настоящее «золотое перо». Много лет он был собственным корреспондентом газеты «Советская Культура». Мы с ним сделали целую газетную полосу, для которой я написал три статьи, две из них под псевдонимом. Мне Геннадий показался человеком талантливым, добрым и доброжелательным, но несколько, скажем так, не очень волевым. Не мог он устоять и перед «горячительным», и его трагический конец вызывает во мне глубокое

сожаление. Когда такие талантливые люди заканчивают жизнь так страшно и так напрасно, это всегда больно и тяжело.

Еще один яркий куйбышевско-самарский журналист, с которым я часто встречался и по заданиям которого написал изрядное количество статей, – это Евгений Жоголев, он был тогда заведующим отделом культуры газеты «Волжская Коммуна». Несколько раз он напечатал в газете мои стихотворные подборки, а затем предложил сотрудничество и в прозе. Нередко он давал мне письма, пришедшие в редакцию, часто о конфликтных ситуациях в школах или училищах, в семьях или на работе. Это были непростые задания, часто не было ясно вначале, какая позиция правильная, на чьей стороне должна выступить газета. Помню, однажды я написал статью о девочке, которую несправедливо исключили из педучилища, разлучив с мечтой стать учителем. После статьи ее восстановили в училище. Жоголев казался человеком неразговорчивым и даже немного хмурым, но он был, на мой взгляд, достаточно мягким и либеральным. Его отец Николай Жоголев был известным в Самаре поэтом, и у меня даже была книга его стихов. Впрочем, сознаюсь, я так и не дочитал ее до конца.

Однажды я написал статью в «Волжскую Коммуну» по заданию Геннадия Гулина. Он тоже был яркой личностью в Самаре. Писал и издавал книги под псевдонимом Андрей Вятский. Он меня поразил тем, что, не приняв мое название статьи, попросил меня тут же придумать и написать на бумаге двадцать возможных вариантов названия, и потом уже мы с ним вместе выбирали самое подходящее. Такой метод работы встретился впервые, и никто другой ничего подобного не просил.

Отдельный рассказ, наверно, о моем сотрудничестве с московской и всесоюзной газетой «Труд». Это началось, по-моему, году в 1986-м. Мне позвонил собственный корреспондент газеты в Куйбышеве Николай Чайковский и сказал, что его заинтересовала моя статья в «Волжской Заре» о новых разработках под руководством профессора Фатенкова в куйбышевском медицинском институте. «Не могли бы вы ее подготовить для «Труда», несколько сократив и сделав более концентрированной?» - спросил он меня. Так началось наше сотрудничество, длившееся до 1990 года, до моего отъезда в Израиль. Был я однажды в командировке от работы (а работал тогда в вычислительном центре Приволжского управления магистральными нефтепроводами) в городе Бугульма. Было это зимой, мне стало как-то грустно и одиноко в чужом городе, и я пошел и купил в киоске «Союзпечати» свежий номер газеты «Труд». Открываю газету и вижу вдруг на первой странице знакомую фамилию – свою. Это был мой репортаж об открытии в Куйбышеве первой линии метро из четырех станций.

При всей важности, какую имела для меня журналистика, я никогда не думал о том, чтобы сделать ее своей основной профессией. Она была моим увлечением, хобби, дополнительным зара-

ботком. Но однажды я все-таки сделал попытку перейти на работу в газету «Волжская Заря». В том жарком мае во второй половине 80-х меня пригласили в куйбышевский Дом актера, где в День печати 5 мая награждали лучших журналистов и рабкоров. Я получил из рук заместителя редактора газеты Почётную грамоту. По своей наивности спросил после церемонии заведующего отделом: не могу ли я перейти из внештатных в штатные корреспонденты? Он пошел «провентилировать» вопрос с замредактора, а когда вернулся, то, отводя глаза в сторону, ясно дал мне понять, что... Ну, в общем, в редакции и так уже слишком много сотрудников с «неправильной» пятой графой в паспорте.

Если бы ведали они, как я им потом был благодарен за этот отказ, особенно, когда оказался в Израиле и увидел, как трудно найти работу и достойно зарабатывать русскоязычным журналистам. А моя основная профессия программиста все эти годы меня надежно кормит. Будем надеяться, что так и до пенсии продолжится. Но журналистика в моей жизни не раз меня выручала. Некоторые случаи остались в памяти как страницы какого-то авантюрного романа.

Было это в 1985 году, в Риге, куда меня послали от работы на двухмесячные курсы повышения квалификации. Жил я в институтском общежитии, но на последние две недели ко мне должна была приехать моя жена, и куда я ее поселю? Попробовал поискать номер в гостинице, но куда там! Лето, разгар туристского сезона, все переполнено. И тогда у меня возникла идея. Я приехал в небоскреб рижского Дома печати, показал милиционеру на проходной мое удостоверение нештатного корреспондента куйбышевской газеты «Волжская Заря», поднялся на лифте в редакцию вечерней городской рижской газеты «Ригас Балсс» («Голос Риги») и пошел в кабинет редактора. Редактор, высокий седовласый латыш Вильгельм Карлович принял меня очень учтиво. Я предложил ему написать что-то для газеты на местном материале. В то время набирала силу антиалкогольная кампания, объявленная новым генсеком Горбачевым. Вильгельм Карлович позвал двух штатных сотрудников, и мы обсудили темы возможных статей. Помню, одна из них была о работе и проблемах кабинета для реабилитации анонимных алкоголиков; вторая, кажется, о воровстве, цыганах в городе и еще что-то в этом роде.

В конце встречи редактор спросил меня, есть ли у меня какие либо просьбы. И тут я спросил: не может ли он забронировать мне номер в гостинице? «Нет проблем», — ответил он и тут же велел секретарше подготовить письмо в гостиницу «Балтия» в самом центре Риги.

Мы оба честно выполнили свои обещания. Я написал две статьи (когда я их принес в редакцию, работавший со мной журналист газеты сказал: «Ну вот, сразу видна рука профессионала» — и это при том, что журналистике я формально никогда не учился). Газета «Ригас Балсс» выходила на двух языках — русском и латышском, и я впервые увидел, как выглядят на латышском языке и статья, и моя фамилия под ней.

Елена Лейбзон (Дубнова)

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

КАК Я ВЫДАВАЛА ДОЧЬ ЗАМУЖ

«Отец, скажи, зачем, ну зачем ты это сделал?» – голос сына, полный гнева, боли и обиды, срывался на крик. Да и как иначе мог он реагировать на выходку отца? При одном только воспоминании о случившемся краска стыда заливает его лицо, и как в немом кино, мелькают перед ним эти позорные и в то же время неповторимые по своей красоте кадры. Вот они, еще мгновение назад величественные в своей красе, огромные серебряные подсвечники летят вниз со стола, словно подстреленная птица, разбрызгивая хрустальную пыль от стаканчиков с еще невыгоревшими свечами. А затем — напряженная тишина. Никто не знает, как разрядить обстановку. И только главный виновник происходящего — его отец — нимало не смущен. Напротив, как кажется сыну: он даже доволен. Словно давно ждал подходящего момента, чтобы выплеснуть затаившуюся боль, словно хотел кому-то что-то доказать, взять за что-то реванш.

Неужели, недоумевал сын, такого сильного человека, как отец, могла вывести из себя эта изысканная обстановка, пусть так отличающаяся от той, в которой он жил и продолжает жить, непривычный для него богатый, по-европейски обставленный дом, аристократический облик родителей невесты, с которыми в скором будущем ему предстоит породниться?

Уже в первые мгновения сын заметил странную, незнакомую улыбку на лице отца, словно отражающую его тайные мысли. Эта улыбка насторожила сына, но разве мог он предполагать, какие мысли блуждают в голове отца и во что это может вылиться... И даже если и накопились у него обиды на кого-то, неужели же такой теплый прием, не смягчил, не растопил ощущение ущербности, которое, вероятно, отец вынашивал долгие годы и остро почувствовал здесь. Несмотря на уговоры сына и на деликатную просьбу хозяйки дома: «Моше, – так звали отца, – не переживайте, ну, опрокинулся у вас бокал с вином, ничего страшного не произошло, но поменять скатерть, когда стоит такой подсвечник с еще горящими свечами, просто невозможно. Вы ведь знаете, что мы не можем трогать и передвигать его в субботу», – отец всё-таки настоял на своем. Всем своим видом он как будто хотел сказать: мы хоть и не такие образованные, мы хоть из Марокко, но тоже смыслим кое-что в жизни, и для нас снять скатерть, не поднимая подсвечники, вовсе не проблема.

В момент, когда с грохотом рушились подсвечники — это серебряное чудо, — сыну казалось, что вместе с ними рушится его, ещё не успевшая начаться, семейная жизнь, и вместе с ней — все его планы на будущее. И что же отец, как он реагировал на крик души своего сына?

Безмолвная сцена: отец и сын стоят один против другого, представители разных поколений, разного восприятия жизни. И вместо ответа отец молча надвигается на сына, в упор глядя ему в глаза, и... медленно расстегивает верхнюю пуговицу белоснежной накрахмаленной рубашки сына. Это сцена израильского фильма, снятого студентами кинематографической студии «Наале». Многозначительная, кульминационная сцена:

Не забывай, как бы говорит этим отец, откуда ты пришел, не забывай свои традиции, свои корни. В Марокко признак настоящего мужчины, «гевера», не всякие там галстуки, бабочки – распахнутая на груди рубаха, словно душа нараспашку. И еще хотел сказать отец: хоть ты и закончил университет, хоть ты у нас теперь образованный, но все же взвесь и хорошо подумай, может, стоит занизить планку, может, не в свои сани не садиться...

Нет, это не утрированная сцена. Фильм основан на реальных событиях, немножко устаревших, правда: речь идет об Израиле 50-х – 60-х годов, но мне он напомнил замужество моей старшей дочери, вернул к событиям, произошедшим четверть века назад.

Моя старшая дочь – гордость и краса отца – приехала в Израиль в девятилетнем возрасте. На свое счастье, она еще не успела вкусить «радость» советского детства, и потому, в отличие от своего старшего брата, не привезла из страны исхода комплексы затравленного еврейского ребенка. В Израиле она попала в здоровую среду, росла среди еврейских детей, большую часть которых составляли урожденные израильтяне. И очень быстро впитала ментальность и свободный дух этой страны, которую очень полюбила. С первых же дней для нее не было разницы: смуглый сефард или свой белый ашкеназ. Сказывалось и воспитание: никогда в семье моих родителей не велись разговоры на такие темы. Мама, приехавшая в Израиль почти на десять лет раньше нас, всегда говорила: «Какая разница – ведь мы один народ, с одной историей и с одной судьбой». И это не были пустые слова, клише, к которым мы привыкли в России. Но у мужа было иное отношение к цвету кожи, тут наши взгляды диаметрально расходились: увидев смуглого йеменского парня, претендента на руку его дочери, он был разбит и не скрывал своих чувств...

В своем отношении к выходцам из восточных общин он был не одинок. Как-то дочь, смеясь, рассказала мне интересный и очень характерный эпизод. Они проходили мимо скамейки, на которой обосновались выходцы из Союза. Оглядывая и обсуждая каждого, они не обошли вниманием и эту «экзотическую» пару: «А девчонка-то из наших, да какая красивая, не могла найти своего, только эфиопа ей не хватало!»

Они не делали разницы между йеменитами и эфиопами. Психология проста и примитивна: темный, значит, не наш. А мне, так же как и дочери, очень нравился этот молодой человек: офицер израильской армии, стройный, подтянутый, быстрый, с горящими черными глазами, он напоминал полотна художников Ге и Иванова, где наши пред-

ки-иудеи именно так и выглядели, хотим мы это принять или нет. Да, они были восточные евреи, и только гонения и скитания по всему свету изменили их и наш внешний облик.

Но как ни противился муж, дочь сделала свой выбор, и настал час помолвки. У нас в доме собрался наш «бледнолицый» европейский лагерь: ждем родителей жениха. Надо сказать, что и сама дочь до этого не была с ними знакома. Наш будущий зять, заручившись согласием дочери на свадьбу, предусмотрительно оставил это знакомство на последний момент. Он видел и понимал, какой огромный, во всех отношениях, разрыв лежит между нашими семьями. И, действительно, даже внешний контраст был слишком разительным: муж в праздничном голубом костюме, под цвет глаз, и при голубой бабочке, я — в длинном бархатном платье; и его родители: мама — худенькая тихая женщина, в йеменском одеянии — в шароварах, в расшитом национальным узором чёрном платье, в особом чепчике на голове, отец — с длинными смоляными, ниспадающими до плеч пейсами....

И хотя мы ещё в России соблюдали еврейские традиции, внешний облик этих людей не только смутил, он сразил меня. Я невольно представила себе, как будет выглядеть эта свадьба, наша первая свадьба на израильской земле, как воспримут её наши друзья, и... расплакалась. Не только различия в нашем облике, не только языковой барьер, но диаметрально противоположная ментальность сделали эту первую встречу натянутой и напряжённой.

Наш еврейский интеллект, вскормленный с детских лет на классической музыке, живописи, литературе, не давал нам возможность разглядеть главное в наших *мухтоным*, как говорят на идише, их человеческие черты.

Но прошло время, появились внуки, соединившие и сблизившие нас, и этого было достаточно, чтобы узнать друг друга. И как пыль от хрустальных подсвечников, развеялось наносное, осталось главное. Начались нормальные отношения. И чем больше я узнавала маму зятя, тем больше убеждалась: насколько поверхностным было первое впечатление: она оказалась тонким, деликатным, добрейшей души человеком, а ведь именно это главное. Появилось много общих тем: не всегда и не со всеми мы ведём интеллектуальные беседы... Приехав в Израиль из Риги, я впервые столкнулась с евреями — не только выходцами из Марокко, но и Грузии, Молдавии, Казахстана, с которыми никогда не встречалась и с которыми мне подчас тоже не о чем было говорить. Да и только ли с ними? Духовная близость отнюдь не связана с происхождением...

Моему мужу не были даны годы жизни, чтобы по-настоящему понять и оценить его смуглого зятя, который преданно ухаживал за ним во время его тяжелейшей болезни, не суждено было оценить, как ночами сопровождал его по приёмным покоям многочисленных больниц, не дано было увидеть и возрадоваться внукам...

Когда старшему из них исполнилось тринадцать, на вечере в честь своей бар-мицвы, совершеннолетия по еврейской традиции, он

очень трогательно и с юмором обыграл своё русско-йеменское происхождение, изобразив меня с самоваром, а вторую бабушку – пекущую малуах, традиционные лепёшки. А потом сказал, что с гордостью несёт в себе обе «половинки»: хэци руси и хэци таймани, любит и ценит традиции своих родителей, сохраняющие каждый посвоему прекрасную еврейскую суть.

Возвращаюсь к фильму, его заключительным кадрам, сдержанным на слова, но полным глубокого смысла.

Идёт на снос старый родительский дом. И сын бережно выносит красочное панно с восточным орнаментом, символизирующее традицию его общины. Панно, вышитое ещё его бабушкой в Марокко...

ПОДАРИТЬ СЧАСТЬЕ ДРУГОМУ...

Желание рассказать об этой удивительной семье возникло у меня не случайно. Мы живем в одном подъезде вот уже более пятнадцати лет, и каждый из нас успел за это время женить детей, дождаться внуков, — это немалый срок, чтобы узнать и по достоинству оценить человека. А если еще учесть нашу «чувствительную» акустику, то я невольно оказалась незримым участником всего, что происходит там, наверху, этажом выше. Уже с раннего утра ощущала я над своей головой здоровый пульс жизни — бегут на работу, в школу, армию... Затем на полдня наступает затишье, и только их маленькая постаревшая собачка в замедленном темпе гоняет мяч по квартире — она тоже старалась быть при деле.

К вечеру дом вновь оживал, наполнялся голосами. И я чувствовала, какой заряд радости бытия исходит от этой семьи и невольно передаётся и мне. В четверг звуки мощного «Кирби» – уборочного агрегата – напоминали о приближении субботы. Весь день в пятницу шла усиленная подготовка: раздвигали столы, расставляли стулья – готовились принять гостей. А гостей у них всегда был полон дом.

Я привыкла к ним, к тому, как дети наперегонки носятся по их просторному дому, наполняя всё вокруг радостью. Но это не раздражало меня. Со временем, когда дети повзрослели и кто-то из них, создав свою семью, жил в поселении, мои соседи уезжали на субботу. И тогда стояла непривычная тишина, и я даже скучала по ним. Особенно по их слаженному хору: то были минуты возвышенной радости, которые я испытывала, слушая, как молодые голоса запевают субботние и израильские песни, подчас с сильным латиноамериканским акцентом: значит, в гостях — их соотечественники. Им мои соседи старались передать свою любовь к Израилю и к нашим традициям.

В духовном настрое этой семьи, в укладе их жизни я чувствовала единомышленников, и действительно, немало общего было в наших еврейских судьбах: почти в те же годы, что и мы, во имя будущего своих троих мальчиков они репатриировались в Израиль, оставив своих родителей в Мексике. Любовь их к этой стране очень импонировала мне, незримо сближала нас, но тем не менее мы оставались

хорошими соседями, и не более. Несмотря на их общительность и доброжелательность, они умели деликатно оградить свою жизнь от лишних вопросов. И поэтому, когда у них появилась девочка лет четырёх-пяти, никто не пытался узнать, кто она и откуда. Это хрупкое создание, с чёрными миндалевидными глазами, огромной копной непослушных кудряшек, напоминало запуганного оленёнка, отбившегося от стада. Первое время, боязливо оглядываясь по сторонам, она доверчиво прижималась к Саре — так звали мою соседку, — ощущая в ней всем своим детским существом надежную защиту. Прошло несколько лет, и на наших глазах девочка будто оттаяла от пережитого: от чего именно — можно было лишь догадываться, и превратилась в веселую и озорную девчушку по имени Мааян.

Мааян, в переводе с иврита, – источник родниковой воды. Имя удивительно подходило ей, отражая суть ее характера: подобно источнику, способному утолить жажду, она заряжала окружающих своей радостью, непосредственностью, чистотой.

С того момента, как появилась в нашем доме Мааян, я иногда сталкивалась в лифте с молоденькой девушкой, на вид старшеклассницей, которая направлялась к моим соседям. Внешне — полная противоположность первой: гладкие длинные волосы туго забраны в узел, огромные глаза, сразу обращали на себя внимание. Они излучали не только свет, но и несли в себе глубокую, притаившуюся печаль. Она чем-то напоминала рафаэлевскую Мадонну, только в восточном стиле. Так продолжалось несколько лет, но настал день, и она осталась. Рахель — так её звали — стала новым членом этой семьи, их пятым ребенком. Как мне потом рассказали, в один из визитов Рахель просто взмолилась: «Возьмите меня, — я вижу, как вы относитесь к моей сестре, какой любовью окружаете ее, сколько дарите ей тепла, — я буду вам хорошей дочерью».

И они не могли устоять. Решали на семейном совете, все вместе: родители и дети. Не знаю, всегда ли дети идут по нашим стопам, и зависит ли это только от воспитания? Думаю, это особое счастье, когда родители и дети настроены на одну духовную волну, когда подобное единогласие, душевность и благородство царят в доме...

Они могли бы оформить опекунство, что гораздо проще, при этом государство оказывает материальную помощь, но нет — они именно удочерили этих двух, совершенно чужих девочек, лишенных родительской любви, истосковавшихся по теплому дому. Они решили взять на себя всю ответственность за их будущее, со всеми трудностями, связанными с таким шагом.

Их воспитание отличалось удивительным спокойствием, выдержкой — никогда не слышала я окрика, повышенного тона. Может быть, именно так они сумели привить детям высокую еврейскую мораль и нравственность по отношению не только к людям, но, что не менее важно, и к стране.

Во время свадьбы Рахели, – а она выходила замуж первая, – когда Сара и Эммануэль вели ее под хупу, я слышала восхищённые

голоса гостей: «Посмотрите на Рахель, каким счастьем светится ее лицо – попасть в эту семью: какая же это компенсация за все ее страдания». А когда начались танцы, обе они – и мать, и дочь – отбросив свадебный этикет, сбросив свои нарядные туфельки, и как две подружки, лихо отплясывали хасидские танцы.

Я уже не раз видела свою соседку такой озорной и непредсказуемой. То она гоняла на мотоцикле с защитным шлемом на голове, то, обнаружив прокол в колесе в моей машине, не раздумывая, как заправский механик, подлезала под машину, чтобы поменять колесо, причем проделывала это быстро и профессионально. Я знала, что Сара – физиотерапевт, ежедневно имеет дело с пожилыми людьми, перенесшими падения и травмы; это профессия, требующая железного терпения и выдержки. Однажды, глядя, как лихо она въехала во двор, остановила мотоцикл, сняла шлем, я вдруг вспомнила некрасовские строки «...коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». И тут же на память пришли другие слова, сегодня они мне были куда ближе этих, заученных в детстве: слова из «Мишлей», притч царя Шломо. Этот гимн еврейской женщине родился за много веков до некрасовского. Его принято читать в субботний вечер, после благословения вина. «Кто найдёт жену столь доблестную, что драгоценней жемчужин? Ладонь свою открыла для бедняка и руки свои протянула нищему...»

Гимн, воспевающий не только дела рук женщины, жены, матери, но красоту души, величие сердца: «Уста открыла для мудрых речей, и учение о доброте на языке её...»

- ...Не раз, на исходе субботы, я видела, как они с мужем провожали молодых с детишками. Мужчины выносили коляски, устраивали их в машинах, а Сара, прижав малыша к себе, словно наседка, хлопотала вокруг дочерей.
- Спасибо, мама! слышу я, порой оказываясь невольным свидетелем их прощания.
- Бабушка, ты самая лучшая! это уже внуки постарше выражают свои чувства.

Как немного и в то же время много нужно, чтобы подарить счастье другому...

Недавно, после долгого перерыва, я встретила своего соседа в лифте и сразу почувствовала, что ему не терпится чем-то со мной поделиться.

– У нас хорошие новости. У Рахели родилась дочь, – произнёс он на одном дыхании, – это после двух сыновей. Теперь у нас десять внуков: пять девочек и пять мальчиков, – и с гордостью добавил, – за пять лет!

«*Мазаль тов*!» – искренне радуясь за эту семью, сказала я и подумала, как много значит для нас, евреев, привести в мир новую душу!

И верится мне, что внуки их, и будущие их поколения не растеряют на своём жизненном пути тот бесценный дар — доброту и милосердие, который они получили от своих предков: Сары и Эммануэля...

Роман Гершзон

«КИЕВСКОЕ ПИСЬМО». ВЗГЛЯД ИЗ ИЕРУСАЛИМА К 120-летию обнаружения уникального исторического документа

Эта история началась 120 лет назад, в декабре 1896 года, когда сотрудник Кембриджского университета Соломон Шехтер отправился в Каир для изучения древних еврейских документов, находившихся в хранилище (генизе) каирской синагоги «Бен-Эзра».

В еврейской традиции гениза — это место хранения пришедших в негодность священных книг. Но в старину в генизах хранились не только священные книги, но и любые тексты, написанные на иврите. Поскольку традиция запрещает уничтожать священные тексты, в еврейских общинах мира генизы играли роль своеобразных архивов с неограниченным сроком хранения.

В генизе каирской синагоги «Бен Эзра» Соломон Шехтер обнаружил более ста тысяч древних еврейских манускриптов. В 1897 году он перевёз их для хранения в Кембриджский университет. Наряду с рукописями Торы и Талмуда, молитвенниками и другими материалами религиозного содержания, Шехтер привез из Каира многочисленные древние тексты, которые носили светский характер. Это были письма, всевозможные записки, юридические документы и тому подобные тексты, самые ранние из которых датировались IX веком нашей эры.

Пользуясь обнаруженными документами, Соломон Шехтер опубликовал в научных изданиях несколько статей по текстам каирской генизы, но, переехав в 1902 году на постоянное жительство в США, отошел от науки и занялся общественной деятельностью. Шехтер был президентом Еврейской теологической семинарии Америки, он основал организацию Объединенная синагога Америки и умер в Нью-Йорке в 1915 году.

Манускрипты каирской генизы, находящиеся в Кембриджской университетской библиотеке, долгие годы не вызывали интереса в научных кругах. Тогда считалось, что профессор Шехтер уже достаточно проанализировал и описал документы из синагоги «Бен Эзра», и что ничего интересного в библиотеке Кембриджа по этой тематике больше найти нельзя. Но времена меняются, и еще в середине прошлого века ученые приступили к планомерному исследованию документов генизы. В Кембриджском университете был создан отдел еврейских рукописей. В настоящее время его возглавляет профессор Стефан Рейф.

Значительная часть документов из каирской синагоги, находящихся на хранении в Кембридже, не была разобрана до начала 1970-х годов, да и к настоящему времени обработано не более 80% находящихся в архиве документов.

В 1962 году изучением коллекции древнееврейских манускриптов синагоги «Бен Эзра» занялся профессор Чикагского университета Норман Голб. Профессор Голб обратил внимание на рукопись из библиотечного собрания, зарегистрированную под номером Т-S (glass) 12.122. Это был небольшой лист пергамента 22,5 см в длину и 14,4 см в ширину, поврежденный в двух местах. На лицевой стороне листа коричневыми чернилами на иврите было написано письмо от имени еврейской общины Киева с просьбой о пожертвовании денег некоему человеку по имени Яков бен Ханука. Норман Голб привлек к изучению рукописи, получившей назва-

Норман Голб привлек к изучению рукописи, получившей название «Киевское письмо», профессора Гарвардского университета Омельяна Прицака. На обработку рукописи ушло почти двадцать лет. Результаты исследований ученые опубликовали в монографии «Golb, Norman and Omeljan Pritsak. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. — Ithaca: Cornell Univ. Press, 1982». На русском языке монография вышла в иерусалимском издательстве «Гешарим» — (Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. — 1-е изд. 1997; 2-е изд. 2003).

Особое внимание авторы монографии уделили написанному на иврите «Киевскому письму», дав ему высокую оценку. «Он (манускрипт) является, в некотором отношении, наиболее ценным средневековым текстом... Данный манускрипт является автографом, документом подлинным, а не поздней копией, и явно написанным хазарскими евреями, проживавшими в Киеве в первой половине X века. Помимо того, что Киевское письмо — древнейший оригинальный текст, содержащий ссылку на этот важный город, оно написано на превосходном еврейском языке».

В письме представители еврейской общины Киева обращаются к соплеменникам из других общин с просьбой помочь человеку по имени Яков бен Ханука. Говорится, что этот когда-то состоятельный человек был поручителем у своего брата, взявшего в долг деньги у иноверцев. Брат Якова погиб, сам поручитель не смог расплатиться с кредиторами и в результате попал в долговую тюрьму. Киевская община выкупила Якова бен Хануку за шестьдесят монет, но необходимо было заплатить кредиторам еще сорок монет, и Яков отправился просить пожертвования в других еврейских общинах. Судя по тому, что письмо еврейской общины Киева было найдено в Каире, можно предположить, что податель письма в свое время добрался до Египта, но дальнейшая его судьба неизвестна.

Начало письма, первые семь строк, — это вступление, содержащее традиционное восхваление Всевышнего. «Тот, кто первый среди самых главных, тот, кто украшен диадемой Конечный и Первый. Тот, кто спышит шепчущий голос и слушает громкую речь и язык, — да хранит их как зеницу и позволит им жить, вознесясь высоко, подобно Нахшону. Как первым людям правды, презирающим выгоду, дарующим выгоду, дарующим любовь и доброту,

представляющим милостыню. Стражей спасения, чей хлеб всегда доступен каждому страннику и прохожему. Святым общинам, разбросанным по всем уголкам (мира): да будет воля Владыки Мира (покоя) дать им возможность жить, как корона мира (покоя). Теперь, наши князья и господа».

Далее появляются слова «община Киева» и излагается основное содержание письма. «Мы, община Киева, уведомляем вас о прискорбном положении господина Якова бен Хануки, происходящего из хорошего рода. Он был из дающих, а не из берущих, пока суд не осудил его за деньги, взятые его братом у иноверцев. Этот Яков дал гарантию. Брат его был в пути, и пришли грабители, которые зарезали его и взяли деньги. Потом пришли кредиторы, и взяли Якова, и надели железные цепи на его шею и железо вокруг его ноги. Он оставался там целый год, [а потом] мы дали гарантию за него. Мы уплатили 60 [монет], и ещё осталось 40 монет [долга]. С этим послали мы его между святых общин, чтобы сотворили милосердие к нему, чтобы они могли оказать милость ему».

В завершение письма говорится о заповеди подавать нуждающимся и упоминание Всевышнего. «И теперь, наши господа, поднимите ваши глаза к небесам и поступите в соответствии с вашим добрым обычаем, вы, кто знает, как велика добродетель милостыни, как милосердие избавляет людей от смерти. Но мы не те, кто предостерегает, а те, кто напоминает, и будет милость для вас перед Владыкой, вашим Богом. Вы будете вкушать ее в этом мире, и ее присутствие останется для мира грядущего. Только будьте сильными и обладайте мужеством добра, и не бросайте слова наши себе за спину; и пусть Всесущий благословит вас, и восстановит Иерусалим в ваши дни, и спасет вас и также нас с вами. А(минь). А(минь)».

В конце письма стоят имена одиннадцати составителей:

Авраһам Гапарнас — [...] эль бар Манас — Реувен бар ... — Гостята бар Кьябар Коһен — Шимшон Йеһуда, прозванный Сварта — Ханука бар Моше — Куфин бар Йосеф — Манар бар Шмуэль Коһен — Йеһуда бар Ицхак Леви — Синай бар Шмуэль — Ицхак Гапарнас.

На письме есть ремарка, написанная тюркскими рунами: «Хо-курум» («Я прочел [это]»), вероятно, поставленная чиновником хазарской администрации Киева, что позволяет отнести время написания письма к периоду хазарского контроля над Киевом в начале X века.

Таким образом, Киевское письмо, написанное на иврите, на сегодняшний день является самым древним историческим документом, в котором упоминается город Киев.

Страницы истории

Хотя Норман Голб и Омельян Прицак опубликовали свою монографию с описанием Киевского письма еще в 1982 году, в советское время в научных кругах эта книга была предана забвению.

На русском языке текст письма был опубликован только в 1997 году, уже после распада СССР. Но и после этого ученые на постсоветском пространстве предпочитали «не замечать» Киевское письмо, выражали необоснованные сомнения в подлинности рукописи или отделывались замечаниями о несущественности и незначительности документа из каирской генизы.

Так, директор Института археологии Академии Наук Украины академик Петр Толочко почти четверть века спустя после публикации монографии Нормана Голба и Омельяна Прицака высказал такое мнение по поводу Киевского письма. «Прежде всего, о самом письме. Даже если согласиться с его подлинностью (в чём нет полной уверенности) и с тем, что написано оно в Киеве в первые десятилетия Х в., то максимум, на что уполномочивает оно добросовестного исследователя, это на утверждение о наличии в Киеве в это время иудейской хазарской общины, вероятно, торговой колонии. Ничего нового, а тем более сенсационного в письме не содержится. О том, что в раннем Киеве была хазарская колония, известно из "Повести временных лет". В ней упоминается урочище "Козары". Подтверждает хазарское присутствие в Киеве и археологический материал, правда, очень незначительный. Но ведь и Киевское письмо не указывает на большую хазаро-иудейскую общину Киева. Она оказалась неспособной собрать 40 монет среди киевских соплеменников, чтобы вызволить из долговой зависимости от неверного (очевидно, славянина) своего товарища, и вынуждена была обращаться за финансовой помощью за пределы Руси». - Толочко П. К вопросу о хазаро-иудейском происхождении Киева // Хазарский альманах. Т. 2 – Киев, Харьков, Москва, 2004. – С. 99-100.

В ответе украинского ученого просматривается желание уменьшить историческую значимость письма («ничего нового, а тем более сенсационного в письме не содержится»). Академик Толочко также высказал сомнение в подлинности киевского документа, никак не обосновывая это утверждение. И совсем уже непростительная забывчивость для ученого такого уровня, который даже не обмолвился о том, что Киевское письмо – это первый на сегодняшний день исторический документ, происходящий из Киева.

Исходя из письма, можно проанализировать имена еврейских

Исходя из письма, можно проанализировать имена еврейских жителей, проживавших в X веке в городе Киеве. В именах авторов письма прослеживается как хазарское влияние в еврейской общине Киева X века, так и варяжско-скандинавское и славянское, при преобладании традиционных иудейских имен. Среди имен представителей иудейской общины города, подписавших письмо, отмечены еврейские библейские имена, такие, как Авраам, Шимшон, Ицхак, Реувен, что говорит о наличии в общине преимущественно иудеев,

а не хазар-прозелитов. В письме имеется два тюркских имени: Манар и Манас, славянское имя – Гостята, и прозвище Сварте, что означает «черный» на древнескандинавском языке.

Нееврейские имена в Киевском письме, как считает д-р А. Торпусман, являются признаками внешних культурных воздействий на еврейскую общину. Очевидно, такое воздействие оказывалось и на другие общины города.

Киевское письмо позволило ученым узнать маршруты путешествий киевлян в раннем средневековье, особенности функционирования судебной системы древнего Киева и взыскивания долгов.

Разве всего этого мало для историка?

Возможно, мнение академика Петра Толочко – это отголоски советской исторической школы, бывшей во времена СССР верной исполнительницей партийных и государственных заказов. Примером такого партийного заказа в 1982 году было празднование 1500-летнего юбилея города Киева. Откуда появилась эта дата – 1500 лет?

Да ниоткуда. Просто советские власти решили отметить юбилей «матери городов русских» — вот и отметили! Во время раскопок в Киеве на древнем городище археологи нашли византийские монеты IV-V веков. Вот и получается, что 1500 лет назад в районе современного Киева было древнее поселение, самое время отметить славный юбилей. Других «обоснований» юбилейной даты тогда просто не нашли, не нашлись они и до настоящего времени...

Но в 1982 году ученые-историки пересказывали, обосновывая юбилей Киева, рукопись XII века «Повесть временных лет», в которой рассказывалось об основании Киева тремя братьями — Кием, Щеком и Хоривом и их сестрой Лыбедь. «И быша 3 братья: единому имя Кий, а другому Щекъ, а третьему Хоривъ, и сестра их Лыбедь. Седяше Кий на горе, где же ныне увозъ Боричевъ, а Щекъ седяше на горе, где же ныне зовется Щековица, а Хоривъ на третьей горе, от него же прозвася Хоревица. И створиша градъ во имя брата своего старейшаго, и нарекоша имя ему Киевъ. Бяше около града песъ и боръ великъ, и бяху повяща зверь, бяху мужи мудри и смыслени, нарицахуся поляне, от них же есть поляне в Киеве и до сего дне».

В честь старшего брата Кия якобы и был назван город Киев.

Про какие-либо конкретные даты основания города Киева в «Повести» не было даже упоминания. Вот такой странный 1500-летний юбилей Киева отмечался в Советском Союзе в 1982 году.

Естественно, советские ученые-историки имели представление о том, что городу Киеву предшествовала хазарская крепость, которая называлась Самбат, Самват или Шамбат. Византийский император Константин Багрянородный свидетельствовал об этом в трактате «Об управлении империей» (948 г), где говорилось о «крепости Киоава», называемой Самват».

Страницы истории

Как считает профессор Омельян Прицак, слово «самбат» или «шамбат» произошло от ивритского слова «шабат» – суббота. Да и река Днепр в те времена называлась Самбатион, по имени легендарной реки, к которой, согласно еврейским преданиям, должны были прийти исчезнувшие колена Израиля.

И вот сейчас – Киевское письмо, которое датируется первой половиной X века. Это самый древний на сегодняшний день документ, в котором упоминается город Киев.

Ученые СССР знали о Киевском письме, знали о Самбате и Самбатионе, но молчали. Это была государственная политика замалчивания исторических фактов, которая, к сожалению, не изменилась и после распада Советского Союза.

В 2009 году иерусалимский ученый, научный редактор Краткой еврейской энциклопедии Абрам Торпусман написал о Киевском письме статью «Уникальный документ по истории Киева начала X века и что о нем знают в современном Киеве» и послал ее в киевский журнал «Украінознавство» («Украиноведение»). В этой статье А. Торпусман сделал подробный анализ Киевского письма и рассказал о позорной истории замалчивания этого важного исторического документа в бывшем СССР и на современном постсоветском пространстве. В заключение автор отметил: «Так или иначе, припрятывать и дальше Киевское письмо от украинской общественности нецелесообразно и позорно... Всё равно написанное в Киеве письмо когда-нибудь вернётся в украинскую столицу, пробьётся. Только долгое наследование советскому государственному антисемитизму не делает чести Украине сегодня... Повернуться лицом к ценному памятнику национальной истории предстоит самим учёным, самой украинской общественности».

Редакция журнала «Украінознавство» и его главный редактор академик П. Кононенко отказались печатать статью израильского ученого. Копию статьи автор послал председателю Украинского института национальной памяти академику Игорю Юхновскому. Ответа от академика Юхновского не последовало.

Киевское письмо до сих пор не вернулось в свой родной город Киев. Письмо известно во всем мире, но неизвестно гражданам Украины. Грустно, но факт.

В завершение хотелось бы напомнить, что пятая часть архивных документов каирской генизы, в которой 120 лет назад Соломон Шехтер нашел Киевское письмо, не изучена исследователями до настоящего времени. Кто знает, какие открытия нас ждут в будущем?

Дмитрий Сиротин

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

МУДРЫЙ ПАПА

Любовь – это сложная штука, сынок... К примеру, ты любишь вишнёвый пирог. Смирись – и живи, безнадежно любя: Пирог никогда не полюбит тебя!

НА БИОЛОГИИ

Дети за партами шумно сидели. Крикнул скелет им, не выдержав: «Ша!!!» ...Дети за партами тихо седели... Да и сидели теперь не дыша.

КУБИКИ

Сложил я из кубиков слово, и вдруг получился скандал: То слово вчера дядя Вова, споткнувшись о кошку, сказал.

ЭХ...

Грустна людоеда стезя, поскольку нельзя, к сожаленью, есть женщину в русских селеньях. И даже мужчину нельзя.

ЗАЩИТНИК

От грабителей бабуля держит в домике питбуля, а сама который год в конуре его живёт.

СТРАННО

Открыл я шкаф. Там бегемот. Сидит, пальто моё жуёт... Тут что-то, граждане, не то! Откуда у меня пальто?!

ВАРИАНТ САМОЭПИТАФИИ

Был и трезвый-то, братцы, я дико рассеян... Но, как русский поэт, даже в лютой ночи лишь разумное – доброе – вечное сеял! Плюс – очки, телефон, от квартиры ключи.

РАСТУ

Опять летаю я во сне... Нужна кровать пошире мне, чтоб не слетал некстати я в этом сне с кровати!

ПРОБЛЕМА

Я составил список дел и его куда-то дел. А без списка – ну дела! – не решаются дела...

КАК Я УПАЛ

«Ну, послал Господь нам сына! Доскакался по двору? Хватит плакать, ты мужчина!..» Я не плачу... Я ору.

СЕМЕЙНАЯ ЛОГИКА

Когда теряет папа шляпу, мы называем шляпой папу.

ОБИДНО

Подарили тёте-привидению зеркальце ко дню её рождения. Тётя на подарок обижается, потому что в нём не отражается.

НЕОЖИДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Совсем меня не любишь! – плакал клоп. – Увидишь на подушке – сразу в лоб!
 А я – поэт, нежнейшая душа...
 И пил мне кровь, обиженно дыша.



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Лея Алон (Гринберг), прозаик. Родилась в Белоруссии. Член СПИ и Союза журналистов Израиля. Автор ряда книг на русском языке и иврите, а также многочисленных публикаций в израильской и зарубежной прессе. В Израиле с 1979 года. Живёт в Иерусалиме.

Александр Асманов, поэт, прозаик, журналист, переводчик, художник, фотограф, бард. Родился под Москвой. Член МСПИ. Печатался в многих СМИ, а также в поэтических сборниках. Автор трёх поэтических сборников и книги сказок для детей.

Яков Басин, историк, публицист. По образованию – врач. Автор десяти книг, в том числе, двух монографий. Составитель и редактор четырнадцати сборников научных работ по современной истории. Член Международной федерации журналистов. В Израиле – с 2010 года. Живёт в Иерусалиме.

Марат Баскин, прозаик. Родился в поселке Краснополье Могилевской области. Автор двух книг. Рассказы и повести публиковались в Беларуси, России, Америке. В США с 1992 года.

Валентина Бендерская родилась в г. Бердичеве. Окончила Житомирское муз. училище им. В.С. Косенка и Киевский Национальный университет культуры и искусств. Лауреат областной премии поэта Н. Шпака. Автор трёх поэтических сборников. Стихи переведены на украинский, польский, немецкий языки Член МСП Иерусалима. В Израиле с 1997 г.

Борис Берлин. Родился в России. Пишет в жанре «несовременной прозы». Автор книг и публикаций в израильской, европейской и российской прессе. Член Международного Союза писателей Иерусалима.

Александр Бирштейн, поэт и прозаик. Родился и живёт в Одессе. Член Союза журналистов и Союза театральных деятелей. Автор многих книг. Лауреат премий им. Паустовского и «Сетевой Дюк», дипломов международных книжных ярмарок. Публикации во многих СМИ на родине, а также в Израиле, США, Германии, России, Канаде и других странах.

Светлана Василенко, прозаик, поэт, драматург. Родилась на Волге. Закончила Лит.институт им. А.М. Горького и Высшие сценарные и режиссёрские курсы. Автор 11-ти книги и нескольких фильмов. Лауреат множества премий. Живёт в Москве.

Белла Верникова, поэт, эссеист, художник, историк литературы. Родилась и жила в Одессе. Входит в редколлегию одесского альманаха иудаики «Мория». Автор восьми книг (стихи, эссе, графика, детская книжка), участник международных художественных выставок. Журнальные публикации и графика открыты в Интернете. В Израиле с 1992 г. Живёт в Иерусалиме.

Лариса Володимерова, поэт, прозаик, эссеист. Родилась в Ленинграде. Автор более двух десятков книг на разных языках, в т.ч. 9томного собрания сочинений: прозы, стихов, философских эссе и политических статей, Живёт в Амстердаме.

Юлия Вольт, поэтесса, прозаик. Родилась в Новосибирске. Окончила юрфак Томского университета с последующим подтверждением диплома в Израиле и вступлением в израильскую коллегию адвокатов. Автор двух книг стихов и прозы — «Компромат» и «Из писем к Ю.В». В стране с 1997 года. Живёт в Рамат-Гане.

Ефим Гаммер, прозаик, поэт, журналист, художник. Родился в Оренбурге, жил в Риге. Автор 20-ти книг стихов и прозы. Лауреат множества российских литературных премий, обладатель 13-ти медалей выставок во Франции, США, Австралии. Удостоен золотых медалей премий имени И. Бунина и С. Михалкова, золотой медали международной премии «Золотое перо Руси». В Израиле с 1978 года. Живёт в Иерусалиме.

Марина Гершенович, поэт, переводчик, автор-исполнитель. Родилась в Новосибирск, ныне живёт в Дюссельдорфе (Германия). Близка к миру российской авторской песни.

Роман Гершзон, журналист. Родился в г. Станислав на Западной Украине. Автор шести книг. Лауреат международных литературных премий «Золотое перо Руси» (2006 г.), «Добрая лира» (2007 г.). В Израиле с 1990 года. Живёт в Иерусалиме.

Алиса Гринько (О. Любимова), прозаик. Родилась в Москве, закончила Московский авиационный институт. Автор четырнадцати книг. Член СРПИ и СП России. В Израиле с 1999 г. Живет в Иерусалиме.

Вадим Гройсман родился в Киеве в 1963 г. Автор шести поэтических книг. Победитель Конкурса имени Бродского, Открытого чемпионата Балтии по русской поэзии и фестиваля «Дорога к Храму». Публиковался в журналах «Юность», «Дружба Народов», «День и Ночь», «Новый журнал», «Литературный Иерусалим» и др. В Израиле с 1990 г.

Липа Грузман, прозаик. Родился в г. Горький. Член Союза писателей Израиля и Союза журналистов России. Автор четырёх томов хроникально-художественной прозы. В Израиле с 1998 года. Живёт в Иерусалиме.

Ханох Дашевский, поэт-переводчик. Родился в Риге. Участник подпольного сионистского движения. Был одним из руководителей литературно-художественного семинара «Рижские чтения по иудаике». Автор трёх сборников поэтических переводов. В Израиле с 1988 года. Живёт в Иерусалиме.

Сергей Касьянов, поэт, эссеист, критик. Родился на Украине. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в ряде литературных журналов и альманахов. Автор двух поэтических сборников. Член Союза писателей Москвы. Живёт в Москве.

Александр М. Кобринский, философ, поэт, прозаик, публицист, переводчик. Родился в г. Запорожье. Автор 22 книг. Редактор и составитель стихотворного сборника «Антология поэзии, Израиль-2005». В Израиле с 1987 года.

Леонид Колганов, поэт и прозаик. Родился в Москве. Автор семи книг стихов и прозы. Лауреат премии им. М.Ю. Лермонтова. Почётный гражданин Кирьят-Гата. Член МСПИ. В Израиле с 1992 года.

Елена Лейбзон (Дубнова), журналист. Родилась в г. Керчь. Окончила филфак. Живёт в Реховоте.

Евгений Лесин – поэт. Родился и живёт в Москве. Учился в Московском институте стали и сплавов. Окончил Литинститут имени Горького. Лауреат премии «Нонконформизм-2010», «Звездный фаллос», премии альманаха «Кольцо А» и др. Член СП Москвы, Союза журналистов Москвы, Русского Пен-клуба. Автор восьми книг и многочисленных публикаций.

Татьяна Мартынова (Херсонская), поэт, прозаик, художник-иллюстратор. Автор двух книг стихов и книги для детей. Рассказы и стихи публиковались в журналах России, Украины, Израиля, Германии, («Арион», «Октябрь», «Крещатик», «Артикль», «Интерпоэзия» и др.). Живёт в Одессе.

Дина Меерсон, поэт, прозаик. Росла на Вятке. Мединститут окончила в Уфе. Работала во Владимире врачом-лаборантом. В Израиле – с 1995 г. Живет в Беэр-Шеве

Марина Ариэла Меламед, поэт, прозаик, бард. Окончила муз. училище (Харьков), театральную школу (Иерусалим). Автор пяти книг стихов и прозы. Лауреат премии «Олива Иерусалима» (проза), нескольких международных поэтических фестивалей (стихи). Публикации в СМИ многих стран. В Израиле с 1990 года. Живёт в Иерусалиме.

Евгений Минин, поэт, пародист, издатель. Родился в г. Невель. Окончил Политехнический институт в Ленинграде. Автор девяти поэтических сборников и книги прозы. Председатель Международного СП Иерусалима. В Израиле с 1990 года. Живёт в Иерусалиме.

Александр Перчиков, поэт. Родился в Самаре, окончил Куйбышевский авиационный институт. Автор трех поэтических сборников, а также многих публикаций в альманахах и сборниках России, США, Израиля. В Израиле с 1990 года. Живёт в районе Большого Иерусалима

Дина Ратнер доктор философии, прозаик. Родилась в г. Одессе. Член Союза писателей России и Израиля. Автор семи книг. В Израиле с 1995 года. Живёт в Иерусалиме.

Владимир Сиренко (1931-2015). Окончил филфак Днепропетровского государственного университета (ДГУ). Преследовался органами КГБ. Был репрессирован (1985). В 1986 году реабилитирован. Поэт, прозаик, автор многочисленных поэтических сборников.

Дмитрий Сиротин, поэт. Родился в Воркуте. Окончил филфак Коми государственного пединститута. Публиковался в журналах «Кукумбер», «Урал» и др. Лауреат премии журнала «Костёр». Автор десяти книг.

Ольга Фикс, прозаик. Родилась в Москве. Живёт в Иерусалиме.

Владимир Френкель, поэт, эссеист. Родился в Горьком, жил в Риге. Публиковался на Западе, в СССР, а также в самиздате. Состоит в СП Израиля. Автор восьми сборников стихов. Лауреат премий СП Израиля (2008), им. Ури-Цви Гринберга (2002, 2004). Публикуется в Израиле, Латвии, России, США. В Израиле с 1987 г. Живёт в Иерусалиме.

Сусанна Черноброва, поэт, художник. Родилась в Риге. Печаталась в российской и зарубежной периодике. Участница антологий «Русские поэты Латвии» («Тринадцатый зонтик») и «Ориентация на местности». Автор двух книг. Лауреат литературной премии СРПИ имени Давида Самойлова за 2009 год. Живёт в Иерусалиме.

Анатолий Шкляр, окончил украинское отделение филфака ДГУ, работал журналистом, директором Днепропетровского клуба писателей, редактором издательства. Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат литературной премии им. А. Стовбы.



СОДЕРЖАНИЕ

поэзия

Владимир Френкель. Стихи	3
Леонид Колганов. Стихи	9
Вадим Гройсман. Стихи	13
ПРОЗА	
Ефим Гаммер. Долгое эхо жизни	
Алиса Гринько. На мостике-радуге	33
Юлия Вольт. Кто тут плачет в уголке?	41
поэзия	
Евгений Минин. Стихи	47
Дина Меерсон. Стихи	51
Сусанна Черноброва. Стихи	55
Валентина Бендерская. Стихи	59
ПРОЗА	
Борис Берлин. Портрет его жены	63
Липа Грузман. Байка «Про Вячеслава»	69
Марина-Ариэла Меламед. «Сказания о хеломской»	»79
Ольга Фикс. Свидание	89
Б. Верникова – Т. Мартынова. Муркины письма	93
Дина Ратнер. «То, что страшит, то воздаст»	» 105
ГОСТИ	
Сергей Асманов. Стихи	
Марат Баскин. Рассказы при свечах	117
Александр Бирштейн. Болеет парус одинокий	125
Светлана Василенко. Кроткий	131
Лариса Володимерова. Стихи	141
Марина Гершенович. Стихи	145
Сергей Касьянов. Стихи	
Евгений Лесин. Стихи	153

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД

Ханох Дашевский. Переводы157 Александр М. Кобринский. Переводы161
МЕМУАРЫ
Лея Алон (Гринберг). Я был здесь165
Яков Басин. Из Гомеля в Ленинабад и обратно 173
Александр Перчиков. Памяти волшебная шкатулка183
Елена Лейбзон (Дубнова). Маленькие рассказы 191
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Роман Гершзон. «Киевское письмо»197
ЮМОР
Дмитрий Сиротин. Педагогическое
Коротко об авторах 205